

# ИСПОВЕДЬ ДЕТДОМОВКИ



ЭЛАРА КИРШ

История, которую знают миллионы детей —  
и почти никто из взрослых.

Элара Кирш

**Исповедь детдомовки**

«Автор»

2026

## **Кирш Э.**

Исповедь детдомовки / Э. Кирш — «Автор», 2026

Её вернули, как возвращают вещь, которая не подошла. Ей было семь лет. После этого Анфиса перестала ждать. Научилась не привязываться, не надеяться, не показывать, что больно. Система называла это «адаптацией». Она называла это выживанием. «Исповедь детдомовки» — честный, без прикрас дневник женщины, выросшей в государственной системе опеки. 22 записи. 40 лет жизни. История, которую в России знают миллионы детей — и почти никто из взрослых.

© Кирш Э., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

Запись 1. Дом малютки	5
Запись 2. Первая семья	8
Запись 3. Возврат	16
Запись 4. Серые каши	22
Запись 5. Первый класс	27
Запись 6. Больница и Женька	33
Запись 7. Смотрины	43
Запись 8. Гришка	52
Запись 9. Тётя Настя	61
Конец ознакомительного фрагмента.	63

# Элара Кириш

## Исповедь детдомовки

### Запись 1. Дом малютки

Меня никто не учил любви.

Жизни — да. Терпеть — да. Молчать — да. Открывать рот, когда в него суют ложку с кашей, — да. Не плакать слишком долго, потому что всё равно никто не придёт, — тоже да.

А любви — нет.

Не помню, как меня принесли туда в первый раз. Наверное, в каком-нибудь одеяле. Наверное, с бумажкой. С фамилией, датой рождения и прочерками там, где у нормальных детей бывают мама и папа.

Я не помню роддом. Не помню рук, которые держали меня самой первой. Не помню голоса женщины, которая меня родила.

Может, она вообще на меня не смотрела.

А может, смотрела — и всё равно ушла.

Первое, что я помню, — коридор.

Длинный, светлый, чужой. Такой чистый, что от него становилось холодно. Медсестра вела меня за руку, а я неуклюже переставляла ноги и старалась не споткнуться. На мне было платье. Неудобное, колючее, слишком нарядное для ребёнка, который понятия не имел, зачем его наряжают.

Позже я узнала, что мне тогда было два с половиной года.

А в тот день я просто поняла: что-то происходит.

Со мной всегда что-то делали, не объясняя зачем. Мыли. Кормили. Переодевали. Сажали в манеж. Выводили на прогулку. Укладывали спать. Поднимали. Снова кормили.

Но в тот день меня не просто куда-то вели.

Меня показывали.

В комнате сидели незнакомые люди. Мужчина и женщина. Они смотрели на меня так, как взрослые смотрят на вещи, которые собираются купить, но пока сомневаются.

Подойдёт или нет.

Сломана или ещё можно починить.

Женщина улыбнулась. Слишком широко. Слишком осторожно. Мужчина сказал что-то ласковое, но я не ответила. Я вообще тогда плохо говорила. Не потому что не могла. Просто не видела смысла.

Зачем говорить, если никто не слушает?

В доме малютки это понимали быстро.

Не надо было звать маму — мамы не было.

Не надо было плакать — подойдут, только если мешаешь другим.

Не надо было хотеть чего-то своего — своего всё равно не было.

Кроватька была не моя. Игрушки были не мои. Одежда была не моя. Даже имя, кажется, было не совсем моё.

Кто-то из персонала назвал меня Анфисой. Говорили, из-за курносого носа и тёмных глаз. Я была похожа на обезьянку из мультика "Вера и Анфиса".

Смешно, правда?

Ребёнок без матери. Без отца. Без дома.

Зато с именем, которое кому-то показалось забавным.

Медсестра говорила тем людям обо мне. Перечисляла диагнозы, особенности, задержки, какие-то сложные слова. Я стояла рядом в красивом платье и смотрела на свои туфли.

Наверное, надо было улыбаться.

Наверное, хорошие дети на смотрах улыбаются.

Но я не знала, что такое быть хорошей.

Я знала только, что если тебя кормят — надо есть. Даже если не хочешь. Потому что взрослым виднее. Потому что если ребёнок не ест, у взрослых будут проблемы.

Не у ребёнка.

У взрослых.

Если ты заболеешь — тебя будут лечить. Не потому что тебя жалко, а потому что так положено. Если ты испачкаешься — тебя вымоют. Если ты плачешь — тебя могут взять на руки, но ненадолго. Рук на всех не хватает.

Любовь там была слишком дорогой вещью.

Её не выдавали по графику.

Нас сажали в огромный манеж, как кукол. Несколько детей сразу. Кто-то качался, кто-то сосал палец, кто-то молча смотрел в одну точку. Я тоже умела смотреть в одну точку. Очень долго. Так долго, что взрослые иногда пугались.

Но чаще не пугались.

Привыкли.

В доме малютки ко всему привыкают быстро. Даже к тому, что дети не зовут маму.

Потому что если никто не приходит, слово перестаёт иметь смысл.

Те люди пришли ещё раз.

Потом ещё.

Женщина каждый раз пыталась со мной разговаривать. Приносила игрушки. Гладила меня по голове. Мужчина присаживался на корточки, чтобы быть ниже, и протягивал руки.

Я не шла.

Не потому что боялась.

Я просто не понимала, зачем.

Взрослые в моей жизни менялись, как смены. Сегодня одна, завтра другая. Привязываться к ним было бессмысленно. Сегодня эта тётя кормит, завтра другая моет, послезавтра третья ругается, потому что кто-то описался после сна.

К ним нельзя было привыкать.

Но эти почему-то возвращались.

И однажды я начала их узнавать.

Не любить. Нет. До любви там было как до другой планеты.

Просто узнавать.

У женщины были тёплые руки. У мужчины — низкий голос. От него пахло улицей, машиной и чем-то незнакомым, домашним. Они смотрели на меня не так, как остальные.

Не сквозь меня.

А будто я правда существую.

Это было странно.

Страшно.

И немного приятно.

Когда мне исполнилось три, меня снова нарядили. На этот раз суеты было больше. Взрослые говорили быстро, улыбались, что-то подписывали, перекладывали какие-то бумаги.

Меня вывели из здания.

Я помню воздух.

Он был другим.

Не прогулочным, когда тебя выводят вместе со всеми и потом заводят обратно. А настоящим. Большим. Слишком большим.

Меня посадили в машину.

Я не плакала.

Детдомовские дети вообще не всегда плачут в моменты, когда надо бы. Иногда внутри просто выключается звук. Ты смотришь, как за окном остаётся здание, в котором прошла вся твоя короткая жизнь. И не понимаешь, надо ли прощаться.

Я не знала, что меня забирают домой.

Я не знала, что такое дом.

Я не знала, что у меня теперь будут мама, папа, бабушка, две кошки и маленькая собака.

Я не знала, что однажды привыкну к ним настолько, что снова стану уязвимой.

И уж точно не знала, что через несколько лет меня вернут обратно.

Как вещь, которая не подошла.

## Запись 2. Первая семья

В первом доме не было детей.

Сейчас я понимаю: наверное, именно поэтому я первое время чувствовала себя там не ребёнком, а событием.

Две кошки. Маленькая собака. Мама. Папа. Бабушка. Дедушка, который приходил не каждый день, но каждый раз приносил что-нибудь в кармане. Иногда конфету. Иногда яблоко. Один раз маленькую расчёску с розовой ручкой.

Я долго не могла понять, зачем ребёнку личная расчёска.

В доме малютки расчёски были общие. Полотенца общие. Игрушки общие. Взрослые тоже, если уж честно, общие. Сегодня эта тётя застёгивает тебе сандалии, завтра другая вытирает нос, послезавтра третья говорит: «Не реви, не одна тут».

А тут вдруг всё стало моё.

Моя кровать. Моя чашка. Мой шкафчик. Мои колготки, которые не надо было потом искать на другой девочке. Моя полка, на которую поставили мои игрушки.

Слово «моё» было таким непривычным, что я первое время не верила.

Ходила и смотрела.

На обои. На ковёр. На занавески. На миску собаки у двери. На кошку, которая лежала на подоконнике и не убегала, когда я проходила мимо.

Дом пах не так, как садик.

Не хлоркой. Не мокрыми колготками. Не кашей из огромной кастрюли.

Он пах пылью в шкафу, кошачьей шерстью, мамиными духами, чем-то жареным на кухне и ещё тем тёплым запахом, который бывает только там, где люди живут давно и никуда не собираются.

Я тогда ещё не знала, что можно жить где-то давно.

Меня привезли, и почти сразу приехали родственники.

Смотреть.

Это вообще было знакомое дело. Смотреть меня уже приезжали. Только раньше смотрели чужие люди в кабинете, где взрослые говорили про диагнозы, задержки и перспективы. А теперь смотрели тётя, дядя, какие-то двоюродные, троюродные, непонятные.

— Хорошенькая какая.

— Глазастая.

— Тихая.

— А чего молчит?

— Привыкнет.

— Главное, что маленькая ещё. Маленькие быстрее забывают.

Я стояла в новом платье и держала в руках игрушку, которую мне дали, кажется, специально для того, чтобы было куда деть руки.

Игрушка была мягкая. Собственная. Новая.

Я сжимала её так крепко, будто если отпущу, меня снова куда-нибудь отведут.

Взрослые улыбались. Наклонялись ко мне. Пытались разговаривать.

— Как тебя зовут?

Я знала, как меня зовут. Но не понимала, зачем им это слышать, если они и так знают. Взрослые всегда всё знали заранее. Когда есть. Когда спать. Когда гулять. Когда молчать. Даже когда тебе пора в туалет, они тоже почему-то знали лучше тебя.

Поэтому я молчала.

Мама — тогда я ещё не называла её мамой, конечно, просто женщина с тёплыми руками — присела рядом и сказала:

— Ничего. Не надо. Потом скажешь.

Это было странно.

Мне впервые разрешили не отвечать.

В доме малютки молчание обычно раздражало взрослых. А тут моё молчание почему-то приняли как часть меня. Не самую удобную, но всё-таки часть.

Наверное, тогда я впервые почувствовала себя интересной.

Не любимой. Нет. До любви мне было ещё далеко. Я вообще не знала, что это такое и как оно должно ощущаться внутри.

Но интересной — да.

Со мной возились. Меня переодевали не потому, что пора по режиму, а потому что «это тебе не идёт, давай другое попробуем». Мне показывали комнаты. Подводили к зеркалу. Ставили на стул, чтобы все посмотрели, как сидит платье. Заводили на кухню и спрашивали:

— Будешь сырник?

Я не знала, что такое сырник.

На всякий случай кивнула.

Мне дали один. Тёплый. С вареньем.

Я съела быстро, почти не жуя. Потом вылизала ложку. Потом тарелку, пока никто не видел.

Мама увидела.

Я застыла.

Внутри всё сразу сжалось. Сейчас скажет. Сейчас отнимет. Сейчас стукнет по руке. Сейчас будет это взрослое: «Фу, как не стыдно».

Но она только отвернулась к плите и почему-то тихо сказала папе:

— Господи.

Я тогда не поняла, что именно её так расстроило.

Я же просто доела.

Дети из системы вообще многое делают «просто». Просто быстро едят. Просто прячут кусок хлеба. Просто не плачут, когда больно. Просто качаются, чтобы не рассыпаться на части.

А взрослые потом смотрят на это и думают: что с ребёнком не так?

Да всё с ребёнком так.

Это с его жизнью до этого было не очень.

Первая ночь в доме была ужасной.

Мою кроватку поставили в комнате родителей.

Наверное, они думали, что так мне будет спокойнее. Ребёнок после дома малютки, новый дом, чужие стены, чужие запахи — пусть спит рядом, чтобы не боялась.

Только они не знали, что меня испугает не одиночество.

Меня испугают они.

Мама долго сидела рядом, гладила меня по руке и шептала:

— Спи, Анфисочка. Мы рядом.

Я лежала тихо. Очень тихо. Так лежат дети, которые не понимают правил, но уже знают: если не понимаешь — лучше не двигайся.

Потом мама легла в свою кровать. Папа выключил свет. Комната стала тёмной, только из окна падала узкая полоска света от фонаря.

Я не спала.

Сначала слушала, как они шевелятся. Как скрипит кровать. Как папа тяжело выдыхает. Как мама поправляет одеяло.

А потом они затихли.

Совсем.

Я приподнялась на локтях и посмотрела на них.

Два взрослых человека лежали в темноте с закрытыми глазами. Неподвижные. Странные. Ненастоящие.

Я никогда не видела, чтобы взрослые спали.

В доме малытки взрослые не спали. Они приходили, уходили, включали свет, раздавали еду, застёгивали пуговицы, ругались, мыли полы, говорили: «Быстрее», «Не реви», «Открывай рот». Они были как часть режима. Как двери. Как коридоры. Как часы на стене.

А тут мама и папа лежали рядом.

Без голоса. Без власти. Без команд.

И мне стало страшно.

Сначала я просто смотрела. Потом внутри что-то сорвалось, и я закричала.

Мама подскочила так резко, будто её ударили. Следом вскочил папа. Сонный, растрёпанный, босой, в майке. Он метался рукой по стене, искал выключатель.

Свет вспыхнул.

Я увидела их лица — испуганные, помятые, совсем не взрослые.

И закричала ещё сильнее.

Не потому что они сделали мне больно.

А потому что в эту секунду я поняла: взрослые тоже могут быть живыми. Они тоже спят. Также пугаются. Также не всегда знают, что делать.

Для домашнего ребёнка это, наверное, обычная ночь.

Для меня — первая трещина в привычной картине мира.

Мама взяла меня на руки, прижала к себе, качала и повторяла:

— Тихо, тихо, я здесь. Я здесь.

А я не понимала, что значит «здесь».

В доме малытки взрослые всегда были где-то рядом, но никогда — для тебя.

А эта женщина почему-то была именно для меня.

И от этого было страшнее всего.

После той ночи родители ещё долго оставляли мою кроватку в своей комнате.

Наверное, боялись, что я снова проснусь и закричу.

А я боялась, что они снова уснут.

Первые недели я просыпалась по несколько раз и проверяла, дышат ли они. Слушала папино сопение, мамино тихое дыхание, скрип кровати, когда кто-то переворачивался на другой бок.

Потом привыкла.

К темноте.

К их дыханию.

К тому, что взрослые могут спать рядом и не исчезать утром.

К тому, что если закричать, кто-то правда проснётся.

Я привыкла к собаке. Она была маленькая, смешная, с вечно мокрым носом. Подходила ко мне без вопросов, без жалости, без этих взрослых «бедная девочка». Просто тыкалась мордой в колено и требовала, чтобы её погладили.

С животными вообще проще.

Они не ждут от тебя благодарности.

Потом привыкла к кошкам. Одна была наглая и считала, что моя кровать теперь её. Вторая долго смотрела на меня из-под кресла, будто тоже решала, можно ли мне доверять.

Мы с ней, наверное, были похожи.

Привыкла к бабушке.

Бабушка любила командовать. Но командовала как-то по-домашнему.

— Тапки надень.

— Суп остынет.

— Не ковыряй занавеску.

— Иди сюда, косу заплету.

Я не любила, когда мне заплетали волосы. В доме малютки это делали быстро, дёргали, торопились. А бабушка ругалась на мои колтуны, но распутывала аккуратно. Иногда ворчала:

— Ну кто ж тебя так запустил-то, Господи.

Я молчала.

Меня никто не запускал. Меня просто растили в месте, где на каждого ребёнка не хватало рук.

Папа оказался самым непонятным.

Он не знал, как со мной разговаривать. Иногда приносил игрушку и выглядел так, будто сам не уверен, правильно ли выбрал. Иногда включал мультики и садился рядом, но не слишком близко. Иногда поднимал меня на руки, а я каменела, потому что не понимала, что должна делать: обнимать за шею, смеяться, вырываться, терпеть?

Он терпел мою деревянность.

Сейчас понимаю: наверное, ему тоже было страшно.

Все любят рассказывать, какие приёмные дети сложные. И они правда сложные. Только почему-то редко говорят, что взрослые рядом с ними тоже постоянно проваливаются в собственную беспомощность.

Мои старались.

Вот это важно.

Я не хочу сейчас делать вид, будто меня забрали чудовища. Нет. Если бы они были чудовищами, всё было бы проще. Можно было бы поставить их в один ряд с плохими взрослыми и не мучиться.

Но они старались.

Водили меня по врачам. По психологам. По логопедам. По каким-то специалистам, названия которых я не выговаривала.

Меня учили говорить. Учили смотреть в глаза. Учили держать ложку нормально, а не как оружие. Учили просить, а не молча брать. Учили не прятать еду. Учили не раскачиваться.

Особенно их пугало, когда я садилась на кровать, засовывала палец в рот и начинала качаться вперёд-назад.

Вперёд-назад.

Вперёд-назад.

Мне от этого становилось легче.

Взрослым — нет.

Мама однажды заплакала. Я видела через щёлку двери. Она стояла на кухне и говорила папе:

— Я не знаю, что делать. Она будто не здесь.

А я была здесь.

Просто не вся.

Какая-то часть меня всё ещё сидела в огромном манеже и давно решила: не высовывайся. Не радуйся слишком громко. Не проси лишнего. Не привыкай.

Привыкание — опасная штука.

Но я всё равно привыкала.

К тому, что утром можно проснуться и не ждать команды.

К тому, что на кухне можно попросить пить.

К тому, что если заболел живот, тебя не обвинят в симуляции.

К тому, что у мамы есть запах.

К тому, что папа приходит с работы и спрашивает: «Ну как тут моя девчонка?»

Моя.

Это слово я тоже долго не понимала.

Но оно мне нравилось.

Я стала называть их мамой и папой не сразу. Сначала повторяла за другими. Потом привыкла. Потом эти слова стали вылетать сами.

— Мам.

— Пап.

Коротко. Осторожно. Без лишней нежности.

Но для меня это уже был подвиг.

Я не была весёлым ребёнком. Не была солнечной девочкой из рекламы семейного счастья. Не бросалась на шею родственникам. Не щебетала стишки на табуретке. Не говорила: «Спасибо, мамочка, что спасла меня».

Вообще сироты редко ведут себя так, как людям хочется видеть в кино.

Ты берёшь ребёнка, а он не превращается в благодарного ангелочка. Он может орать. Молчать. Воровать сахар. Писаться. Драться с подушкой. Не давать себя обнимать. Проверять, где у тебя предел.

И взрослые такие: «Мы же тебя любим».

А ребёнок думает: «Посмотрим».

Мне понадобились годы, чтобы немного оттаять.

Три года, как потом говорили, «борьбы за нормальную Анфису».

Какая прекрасная формулировка, правда?

Будто где-то внутри меня была нормальная девочка, просто её надо было достать. Вытащить за шкуру из всех диагнозов, задержек, страхов и привычки качаться.

Иногда мне казалось, что у них получается.

Я стала лучше говорить. Стала спокойнее спать. Стала меньше бояться ванной. Начала различать, где домашняя одежда, а где выходная. Научилась не хватать еду со стола. Даже улыбаться научилась более-менее вовремя.

Взрослые радовались.

— Совсем другая девочка стала.

— Видите, что любовь делает.

— Отогрелась.

Я тоже думала, что отогрелась.

Ну, насколько может отогреться ребёнок, которого первые три года жизни никто не держал в руках просто потому, что любит.

А потом мама забеременела.

Я сначала не поняла, что происходит.

Взрослые начали говорить тише. Бабушка чаще приезжала. Маму тошнило по утрам. Папа стал ходить осторожнее, будто в доме появилось что-то хрупкое, хотя ничего ещё не появилось.

Потом мне сказали:

— У тебя будет братик.

У меня.

Смешно.

Ребёнку, у которого ничего не было по-настоящему своего, сообщили, что теперь у него будет брат.

Все были счастливы.

Родственники приезжали с пакетами. Гладили мамин живот. Говорили, что это чудо. Что Бог наградил. Что добрые дела возвращаются. Что вот, взяли сиротку — и Господь послал своего ребёночка.

Своего.

Я тогда ещё не умела правильно злиться.

Просто стояла рядом и слушала.

Получалось, я была чем-то вроде таблетки.

Меня взяли, пожалели, полечили, показали врачам, повели за руку — и за это семье выдали настоящего ребёнка.

Не бэушного.

Не сложного.

Не с задержкой.

Не с привычкой раскачиваться.

Своего.

Красивое слово.

Очень удобное.

После рождения брата дом изменился.

Не сразу. Не как в кино, где в одну секунду все поворачиваются к младенцу, а старший ребёнок остаётся в тени.

Нет. Всё было мягче. Поэтому, наверное, больше.

Сначала мама уехала в роддом. Я осталась с бабушкой и папой. Папа говорил, что скоро мы поедем за мамой и малышом. Бабушка стирала маленькие вещи и развешивала их на батарее.

Носочки были крошечные. Я трогала их пальцем. Они были мягче всего, что я когда-либо трогала.

Потом мама вернулась.

С братом.

Все смотрели на него так, как когда-то смотрели на меня.

Только сильнее.

Он лежал красный, сморщенный, с закрытыми глазами. Иногда кряхтел. Иногда плакал. И каждый его звук поднимал взрослых с мест.

Я могла молчать часами — и это считалось удобным.

Он мог пискнуть — и мир останавливался.

Я не ненавидела его.

Я не смотрела на младенца и не думала: исчезни. Я просто быстро поняла: в этом доме появилась любовь, которую не надо заслуживать.

Он ничего не умел.

Не говорил. Не улыбался. Не старался быть хорошим. Не проходил специалистов. Не доказывал, что становится нормальным.

Он просто лежал.

И его любили.

А я начала снова качаться.

Сначала чуть-чуть. Потом чаще.

Мама раздражалась. Папа хмурился. Бабушка вздыхала:

— Ну вот, опять началось.

Я слышала это «опять» и понимала: нормальная Анфиса куда-то делась.

Я старалась.

Честно.

Сидела тихо, когда брат спал. Помогала приносить пелёнки. Не лезла к маме, когда она кормила. Не просила читать, если она устала. Не плакала, если забывали поцеловать на ночь.

Я была очень удобной девочкой.

Только, как выяснилось позже, удобство — это не любовь.

Можно быть послушной.

Можно быть примерной.

Можно не мешать.

Можно даже называть людей мамой и папой.

Но это всё равно не значит, что ты стала своей.

Я тогда этого ещё не знала.

Я просто чувствовала, как в доме становится меньше места.

Не в комнатах — комнаты были те же.

Меньше места становилось для меня.

И каждый раз, когда родственники склонялись над братом и говорили: «Ну наконец-то у вас свой», я почему-то сильнее сжимала кулаки.

Свой.

Свой.

Свой.

А я, значит, какая?

Тогда я ещё не понимала, что семья может закончиться не криком, не скандалом и не хлопком двери.

Иногда она заканчивается тихо.

Сначала тебя меньше зовут.

Потом реже обнимают.

Потом чаще раздражаются.

Потом начинают говорить: «Если будешь так себя вести, отвезём обратно».

И самое страшное — однажды они перестают просто пугать.

## Запись 3. Возврат

Сначала это была просто фраза.

Такая, знаете, взрослая фраза, которую говорят не для того, чтобы выполнить, а чтобы ребёнок испугался и стал удобнее.

— Будешь так себя вести — обратно отвезём.

Первый раз я даже не поняла, что именно они имеют в виду.

Обратно — это куда?

В дом малютки?

В тот коридор?

В манеж?

К детям, которые качаются и молчат?

К взрослым, которые не принадлежат никому?

Я тогда уже почти четыре года жила в семье. Почти четыре года называла этих людей мамой и папой. Почти четыре года спала в своей кровати, ела сырники, знала, где лежат мои колготки, гладила собаку за ухом и считала бабушкины ворчания чем-то вроде погоды.

Неприятно, но привычно.

И вдруг оказалось, что у всего этого есть кнопка отмены.

«Обратно отвезём».

Сначала этой фразой пугали редко.

Когда я начинала качаться.

Когда не слушалась.

Когда слишком громко плакала.

Когда ревновала к брату.

Когда не хотела отдавать ему игрушку, хотя игрушка вообще-то была моя.

Моя.

Смешное слово.

У приёмного ребёнка «моё» всегда стоит на тонкой ножке. Сегодня твоё. Завтра скажут: «Ты что, жадная?» Послезавтра уберут подальше, потому что «маленькому нужнее». А потом выяснится, что и комната не твоя, и семья не твоя, и фамилия, которую тебе дали, тоже как будто напрокат.

Я старалась.

Вот правда старалась.

Сидела тихо, когда брат спал. Не лезла к маме, когда она держала его на руках. Помогала бабушке складывать пелёнки. Не просила лишний раз читать. Не говорила, что тоже хочу на руки.

Потому что очень быстро поняла: если в доме появился настоящий ребёнок, ненастоящему лучше занимать меньше места.

Но занимать меньше места у меня получалось плохо.

Я ревновала.

Не красиво, как в книжках про старших детей. Не с милыми обидами и надутыми губами.  
А по-сиротски.  
Молча.

Колюче.

С какой-то тупой злостью внутри.

Я могла специально уронить ложку, когда мама наконец садилась поесть. Могла не ответить, когда меня звали. Могла спрятать братову погремушку и потом смотреть, как взрослые ищут.

Глупость, конечно.

Но в семь лет у тебя не так много способов сказать: «Я тоже здесь. Не отдавайте меня обратно».

Да и кто бы услышал?

Они говорили:

— Она стала неуправляемой.

— Она делает назло.

— Мы не справляемся.

— Она не принимает брата.

— Может, у неё всё-таки что-то с психикой.

С психикой у меня, может, и правда было не очень.

Только странно было ждать от ребёнка, которого однажды уже оставили, что он спокойно переживёт появление того, кого точно не оставят.

Брата никто не собирался возвращать.

Он мог орать ночами, срыгивать на одежду, не давать маме спать, доводить папу до белого каления — и всё равно оставался сыном.

А я могла просто слишком долго молчать за ужином — и в воздухе уже появлялось это:

— Анфиса, ты понимаешь, что так нельзя?

— Анфиса, мы же тебя из детдома забрали.

— Анфиса, будь благодарной.

— Анфиса, насильно мил не будешь.

— Анфиса, если ты нас не любишь, зачем тебе здесь жить?

Вот тут я каждый раз зависала.

Потому что не знала, как доказать, что люблю.

Что надо было сделать?

Броситься на шею?

Сказать правильные слова?

Перестать ревновать?

Стать прозрачной?

Не хотеть маму, когда она занята братом?

Не злиться, когда родственники называли его «нашим чудом»?

Я была послушной. Ну, насколько могла. Я старалась быть примерной. Я почти не про-  
сила. Я боялась лишний раз напомнить о себе.

Но, как выяснилось, быть послушной и любить — не одно и то же.

И если ребёнка никто не учил любви, глупо потом обижаться, что он неправильно её  
показывает.

Однажды фраза «отвезём обратно» перестала быть фразой.

Это случилось не в какой-то особенно страшный день.

Не было грома, битой посуды, крика на весь подъезд. Наоборот.

Всё было почти спокойно.

Наверное, от этого я и запомнила тот день так отчётливо.

Мама достала сумку.

Не мою школьную. Не пакет для дачи. Не сумку, с которой мы ездили к врачу.

Большую.

Ту самую, в которую складывают вещи, когда человек куда-то уезжает не на час.

Я сидела на краю кровати и смотрела, как она открывает шкаф.

Мои платья. Колготки. Кофта с растянутыми рукавами. Шапка. Какие-то игрушки. Не  
все. Только несколько. Самые удобные для перевозки, наверное.

Вещи складывались быстро.

Слишком быстро.

Так быстро складывают не память, а проблему.

— Мам?

Она не ответила сразу.

У неё были напряжённые плечи. Я помню эти плечи лучше, чем лицо. Лицо взрослые  
умеют собирать. Плечи — не всегда.

— Мы поедем? — спросила я.

— Да, — сказала она. — Поедем.

— Куда?

Папа стоял у двери. Не заходил. Просто стоял, будто охранял выход.

Он сказал:

— Анфиса, мы больше не можем.

Вот и всё.

Самая страшная фраза в моей жизни оказалась короткой.

Не «мы тебя не любим».

Не «ты нам чужая».

Не «мы ошиблись».

А просто:

— Мы больше не можем.

Удобная фраза.

В ней нет виноватых. Только усталые взрослые и сложный ребёнок. Как будто четыре  
года семьи закончились не предательством, а поломкой бытового прибора.

Не можем.

Не справились.

Не подошла.

Заберите.

Я не кричала.

Не падала на пол. Не хваталась за мебель. Не умоляла.

Наверное, домашний ребёнок стал бы биться в истерике. А у меня внутри в тот момент включилось старое детдомовское электричество.

Щёлк.

И свет погас.

Мама застёгивала сумку. Бабушка где-то на кухне шмыгала носом. Брат спал.

Как всегда, самым спокойным в доме был тот, из-за кого, как мне тогда казалось, всё и началось.

Потом была машина.

Я сидела сзади, рядом с сумкой. Мама впереди. Папа за рулём.

Никто почти не говорил.

Только радио что-то бубнило. Слишком весёлое для такого дня. За окном мелькали дома, деревья, остановки, люди с пакетами. У них была обычная жизнь. Они шли из магазина, ждали автобус, ругались по телефону.

А меня везли обратно.

Интересно, узнаёт ли тело дорогу туда, где ему было плохо?

Мне кажется, узнаёт.

Я ещё не видела здания, но уже поняла.

По повороту.

По тому, как папа сильнее сжал руль.

По тому, как мама перестала смотреть в окно и уставилась себе в колени.

Я поняла раньше, чем машина остановилась.

Детдом.

Не дом малытки уже. Другой казённый дом. Для детей постарше.

Новая глава, как потом любят говорить умные люди.

На самом деле не глава.

Срок.

Папа вытащил сумку из багажника. Мама взяла меня за руку.

Рука у неё была холодная.

Внутри здания пахло краской, варёной едой и чем-то мокрым. Запах был не тот, что в доме малытки, но смысл тот же: здесь никто не принадлежит никому.

Нас встретила женщина из персонала. Она разговаривала с моими родителями не зло. Даже участливо. Наверное, у неё был опыт таких возвратов.

Опека — интересная штука.

Она позволяет взрослым взять ребёнка на тест-драйв. Пожить. Попробовать. Понять, подходит ли.

А если что-то пошло не так — вернуть.

Только почему-то ребёнку при этом никто не объясняет, что семья была временной.

Что «мама» была условной.

Что «папа» был пробным.

Что «дом» зависел от того, насколько хорошо ты справишься с ролью спасённой сиротки.

Мои родители подписывали какие-то бумаги.

Я стояла рядом с сумкой.

Сумка была большая, синяя, с потёртой ручкой. Я помню её лучше, чем лица многих людей. В ней лежала моя почти-семейная жизнь.

Платья.

Колготки.

Пара игрушек.

Кофта.

И, наверное, всё, что удалось забрать от девочки, которая почти стала дочерью.

Потом мама присела передо мной.

Вот это было страшно.

Когда взрослый приседает перед ребёнком, он обычно собирается сказать что-то важное и бесполезное.

— Ты не думай, мы будем приезжать.

Я кивнула.

Не потому что поверила.

Просто голова сама дёрнулась вниз.

Папа погладил меня по волосам. Неловко. Один раз. Будто прощался не с ребёнком, а с чужой собакой, которая когда-то жила во дворе и вроде была хорошая, но себе оставить не получилось.

Мама заплакала.

Я смотрела на неё и не понимала, что должна чувствовать.

Жалость?

Злость?

Страх?

Надежду?

Внутри было пусто.

Только где-то далеко-далеко сидела маленькая мысль: если она плачет, значит, ей тоже больно. Значит, может, ещё передумает.

Не передумала.

Они ушли.

Дверь закрылась.

Я осталась.

Во второй раз в жизни меня оставили взрослые, которые должны были быть моими.

Только первые хотя бы не успели научить меня слову «мама».

Эти успели.

Перед школой мне исполнилось семь.

Бывшие мама и папа приехали ко мне на день рождения. На полчаса. Привезли куклу. Красивую, новую, с волосами, которые хотелось расчёсывать бесконечно.

Они спрашивали:

— Как у тебя дела?

Я до сих пор не знаю, как на такое отвечают.

Как могут быть дела у ребёнка, которого почти четыре года учили жить в семье, а потом вернули в систему?

Нормально?

Спасибо?

Привыкаю?

Я сказала что-то вроде:

— Хорошо.

Куклу я толком рассмотреть не успела.

После их ухода старшие девочки забрали её почти сразу.

— Дай посмотреть.

В детдоме это значит: больше не увидишь.

Я не стала драться.

Жила бы я там с рождения без перерыва, может, и отстояла бы. Может, вцепилась бы зубами. Может, уже знала бы, кого можно ударить, кого нельзя, когда звать воспитателя, а когда лучше молчать.

Но моя шкура истончилась за эти годы в семье.

Я снова стала слишком мягкой.

Слишком домашней для детдома.

И слишком детдомовской для дома.

Куклу унесли.

Бывшие родители уехали.

А я стояла посреди спальни и впервые ясно поняла: если у тебя что-то забрали, не всегда надо плакать.

Иногда надо просто запомнить.

Потому что дальше будет хуже.

## Запись 4. Серые каши

После возврата я почти не плакала.

Не потому что была сильной. Сильные дети — это вообще выдумка взрослых, которым удобно не замечать, что ребёнок просто научился не мешать своей болью.

Я не плакала, потому что внутри снова поселилось то самое старое равнодушие.

Оно было мне знакомо.

Как запах казённого коридора.

Как скрип кроватей.

Как чужие колготки на ногах.

Как голос воспитательницы: «Быстрее, не одна тут».

Равнодушие приходило не сразу. Сначала где-то внутри ещё шевелилась надежда. Глупая, липкая, унижительная надежда.

Вот сейчас дверь откроется.

Вот сейчас мама войдёт.

Скажет: «Мы передумали».

Скажет: «Прости».

Скажет: «Собирайся домой».

Я первое время прислушивалась к каждому шагу в коридоре.

Шаги приближались — сердце дёргалось.

Проходили мимо — сердце возвращалось на место.

Потом оно устало дёргаться.

Это, наверное, и называется адаптацией.

Когда понимаешь: никто за тобой не придёт, и начинаешь жить так, будто тебе всё равно.

В детдоме это полезный навык.

Тебе всё равно, кто носил эти вещи до тебя.

Всё равно, что дадут на завтрак.

Всё равно, кто сегодня дежурит.

Всё равно, что старшая девочка взяла твою заколку.

Всё равно, что бывшие родители обещали приехать и не приехали.

Сначала ты делаешь вид, что всё равно.

Потом действительно перестаёшь чувствовать разницу.

Это не значит, что боль исчезает.

Она просто уходит куда-то глубже. Становится фоном. Как гул старой лампы под потолком: сначала раздражает, а потом уже не замечаешь, пока не наступит тишина.

Детдом не был домом.

Я знаю, что некоторые взрослые любят говорить: «Ну всё равно же крыша над головой. Лучше, чем на улице».

Вы можете сколько угодно рассказывать мне, что лучше в детдоме, чем в канаве.

Я не согласна.

Детям лучше не в канаве и не в детдоме.

Детям лучше там, где за них отвечает конкретный взрослый. Не смена. Не учреждение. Не государство.

Конкретный человек.

Тот, кто заметит, что ты третий день молчишь.

Кто спросит, почему ты не ешь.

Кто увидит, что у тебя рука синяя не потому, что ты «сама ударилась».

В детдоме дети ничейные.

А ничейных не жалко.

Можно сколько угодно делать вид, что система заботится. Она действительно кормит, одевает, моет, лечит, водит на учёбу. На бумаге всё красиво. Если смотреть издали, даже почти прилично.

Но если подойти ближе, начинается запах.

Запах мокрых полотенец.

Кислой каши.

Хлорки.

Старой обуви.

Супа, который кипел так долго, что потерял всякое право называться едой.

Утро начиналось одинаково.

Подъём.

Не мягкое: «Анфисочка, просыпайся». Не рука по волосам. Не запах блинов с кухни.

А резкий голос:

— Встали! Быстро! Умываться!

Сначала ты не понимаешь, где ты. Потом вспоминаешь.

И лучше бы не вспоминать.

Мы вставали почти одновременно. Кто-то сразу бежал в туалет, кто-то сидел на кровати с опухшим лицом, кто-то ругался, потому что ему наступили на тапок. Простыня сбивалась комом. Одеяло надо было сложить ровно. Кровать — заправить так, чтобы не придрались.

В детдоме вообще многие вещи делались не для удобства, а чтобы не придрались.

Не чтобы было чисто — а чтобы проверяющий не увидел грязь.

Не чтобы ребёнку было тепло — а чтобы в журнале значилось: одежда выдана.

Не чтобы ты наелся — а чтобы порция была получена.

Зубную пасту нам выдавали на щётку.

Не тубик. Не «возьми сама». А именно выдавливали.

Чуть-чуть.

Серую, мятную, чужую.

Потом полотенце.

Полотенца я ненавидела сильнее каши.

К концу недели они воняли так, что ими страшно было касаться лица. Не просто сыростью. Тухлятиной. Грязной тряпкой, которой протёрли пол, потом забыли в углу, потом вспомнили и решили: ничего, ещё послужит.

Мест на сушилке на всех не хватало.

Кто был наглее, скидывал чужое полотенце и вешал своё. Кто был слабее, вытирался мокрым.

Я, после семьи, первое время пыталась расправлять своё аккуратно, искать место, следить, чтобы не упало.

Смешная.

В детдоме аккуратность — это не качество характера. Это приглашение для тех, кому нужно что-нибудь испортить.

Через пару недель моё полотенце стало таким же, как у всех.

Серое. Влажное. Вонючее.

Я тоже стала как все.

По крайней мере, внешне.

После умывания — спальня. Уборка. Проверка. Завтрак.

Вся еда в детдоме для меня имела один цвет.

Серый.

Серые каши.

Серые супы.

Серые вторые блюда.

Серо-чёрный компот.

Серый хлеб, который иногда был нормальным, а иногда пах так, будто его уже кто-то ел до тебя, просто не до конца.

Я не хочу сказать, что нас морили голодом.

Нет.

Кормили.

Регулярно. По расписанию. Порциями. Как положено.

Но еда — это ведь не только «чтобы не умереть».

Домашний ребёнок может вспомнить бабушкины пирожки, мамины сырники, папину яичницу по воскресеньям, запах супа, который варят именно для него, потому что он болеет.

У меня после возврата всё снова стало одинаковым.

На завтрак — что-то серое.

На обед — что-то жидкое серое.

На ужин — что-то, от чего серость уже поднималась к горлу.

Иногда попадались блюда чуть менее противные, чем остальные. Им даже радовались.

После семьи это было особенно тяжело.

Я уже знала, что утром могут быть сырники.

Раньше я бы не страдала от отсутствия сырников, потому что не знала, что они существуют в обычной жизни. А теперь знала.

Я знала, что бывает варенье не на праздник.

Что молоко может быть в кружке, а не в огромном бачке.

Что еду можно положить красиво.

Что можно спросить: «Ты будешь ещё?»

Что можно не доедать, если не лезет.

В детдоме такой роскоши не было.

Не хочешь — не ешь.

Проголодаешься — твои проблемы.

Осталась без ужина в наказание — тем более твои проблемы.

Голод там был не событием, а инструментом.

Я помню, как однажды вечером сидела на кровати и пыталась не думать о еде.

Это вообще отдельный талант — не думать о еде, когда живот тянет изнутри так, будто он сам себя жуёт.

В спальне кто-то шуршал под одеялом. Наверное, ел спрятанный хлеб. Я слышала этот звук и ненавидела его. Не человека. Звук. Потому что он напоминал: у кого-то получилось за пасти, а у меня нет.

Потом я научилась.

Прятать куски хлеба.

Есть быстро.

Не брезговать.

Соглашаться на работу, если за неё дадут добавку.

Можно было заработать право доесть то, что осталось.

Красиво звучит.

Право доесть.

Не получить. Не попросить. Не выбрать.

Доесть.

Помоешь посуду холодной водой — получишь тарелку серого пюре с котлетой, которую кто-то не тронул или тронул, но не до конца. Иногда повезёт — почти целая. Иногда сверху будет отпечаток чужой вилки.

Когда хочешь есть, брезгливость становится домашней привычкой.

А у меня с домашними привычками было всё хуже и хуже.

Я мыла тарелки. Вода была ледяная. Пальцы краснели, потом белели, потом переставали слушаться. Жир не смывался, только размазывался по посуде мутной плёнкой. Воспитательница торопила:

— Быстрее, Анфиса. Не спать сюда пришла.

А я не спала.

Я зарабатывала ужин.

Тарелку серого пюре.

И возможность лечь в кровать не совсем пустой.

Вот так и живёшь.

День за днём.

Подъём. Умывание. Вонючее полотенце. Серая каша. Учёба. Обед. Наказания. Шёпот старших. Чужие руки в твоей тумбочке. Вечер. Проверка. Сон.

Если это и был дом, то дом очень странный.

Дом, где у тебя есть кровать, но нет места.

Есть тарелка, но нет выбора.

Есть взрослые, но нет своих.

Есть правила, но нет защиты.

Иногда я думала о бывшей семье.

Не часто.

Часто было нельзя.

Если слишком долго вспоминать мамины руки, папин голос и собаку с мокрым носом, можно было опять стать мягкой. А мягкость в детдоме быстро замечают.

Поэтому я вспоминала коротко.

Как будто касалась языком больного зуба.

Больно?

Больно.

Значит, больше не трогай.

Но память всё равно лезла.

Особенно утром, когда давали кашу.

Я смотрела в тарелку и вспоминала сырник.

Тёплый. С вареньем. Первый в моей жизни.

Я тогда вылизала тарелку, а мама отвернулась к плите и сказала папе: «Господи».

Теперь я понимала её лучше.

Наверное, она тогда увидела не жадность.

А голод.

Только слишком поздно оказалось, что увидеть голод ребёнка — ещё не значит суметь его накормить любовью.

Перед школой мне исполнилось семь.

Первое сентября должно было стать началом новой жизни. Так говорят взрослые. Белые банты, букеты, первая учительница, красивая форма, торжественная линейка.

Для домашних детей — праздник.

Для меня — новый этап угнетения.

Я уже знала главное правило: если ты ничья, за тебя никто не спросит.

Никто не придёт к учительнице и не скажет: «Почему мой ребёнок плачет?»

Никто не заметит красные руки.

Никто не спросит, куда делся карандаш.

Никто не возмутится, что тебя называли нахлебницей.

Семья, даже плохонькая, даёт ребёнку спину.

У меня спины больше не было.

Только казённая стена.

Холодная. Серая. Ровная.

Как каша по утрам.

## Запись 5. Первый класс

Первого сентября я шла не в школу.

Я шла в ещё одно место, где меня будут строить.

Домашние дети, наверное, ждут первый класс иначе. Им покупают ранец. Пенал. Белые банты. Гладят форму. Фотографируют у двери, потом у школы, потом ещё раз у доски, потому что «улыбнись, это же память».

У меня тоже был ранец.

Не новый, конечно. Но приличный. После кого-то из старших. С потёртым уголком и молнией, которая иногда заедала. Внутри лежали тетради, ручки, карандаши. Всё казённое, всё выданное, всё под счёт.

Карандаш потеряешь — объяснительная.

Ручку сломаешь — виновата.

Тетрадь испортишь — значит, безмозглая.

Я не знала, что школа может быть радостью.

Мне про неё рассказали старшие.

Не взрослые, конечно. Взрослые всегда рассказывают красивую версию жизни.

Старшие рассказывали настоящую.

Что учителя нас ненавидят.

Что за нас никто не вступится.

Что если будешь тупить — получишь линейкой по рукам.

Что если сильно разозлишь взрослого — он сам мараться не станет, просто позовёт старших ребят.

А те уже объяснят доходчиво.

Я слушала и делала вид, что мне всё равно.

В детдоме вообще лучше делать вид, что тебе всё равно. Боишься — съедят. Радуется — отнимут. Плачешь — добьют. Поэтому лицо надо держать ровным.

Даже если внутри у тебя маленький зверёк бьётся о рёбра и ищет, куда спрятаться.

На линейке все стояли с цветами.

Цветы мне тоже дали. Какие-то уставшие, с мокрыми стеблями, завёрнутые в прозрачную плёнку. Я держала их обеими руками и думала только об одном: лишь бы не уронить.

Потому что если уронишь — будут смотреть.

А если на тебя смотрят, значит, сейчас что-то начнётся.

Учительница была не старой.

Мне тогда казалось, что все взрослые старые, но сейчас, вспоминая её лицо, понимаю: обычная женщина. Может, сорок. Может, чуть больше. Уставшая. Злая. С таким ртом, который даже в улыбке будто заранее готов сказать гадость.

Она посмотрела на нас, как на мешки с мусором, которые ей почему-то принесли в класс вместо детей.

Потом сказала:

— Ну что, нахлебники, будем из вас людей делать.

Вот и вся торжественная речь.

Может, были ещё какие-то слова. Про знания. Про первый звонок. Про будущее.  
Я их не помню.

А «нахлебников» помню.

Это слово потом вообще прилипло к нам намертво.

— Нахлебники.

— Никому не нужны.

— Бестолковые.

— На ваши тетради нормальные люди налоги платят.

— Сидите тут за государственный счёт и ещё нос воротите.

Она говорила это легко.

Как будто не детям.

Как будто мы правда были не детьми, а статьёй расходов.

Я первое время пыталась понять, что такое налоги.

Кто эти люди, которые пашут всю жизнь и почему-то злятся, что мне выдали карандаш?

Если им так жалко, я могла бы писать огрызком.

В детдоме вообще всё превращалось в долг.

Тебя кормят — будь благодарна.

Одевают — будь благодарна.

Учат — будь благодарна.

Не бросили на улице — вообще молчи в тряпочку.

А то, что ты ребёнок и не сама себя сюда сдала, никого особо не волновало.

Первый класс быстро научил меня главному: школа — это не про буквы.

Буквы я кое-как осилила.

А вот пережить взгляд взрослого, который заранее считает тебя испорченной — сложнее.

Если домашний ребёнок ошибался, ему говорили: «Подумай ещё».

Если ошибались мы, нам говорили:

— Голова у тебя для чего?

— Совсем тупая?

— В кого ты такая? Хотя понятно в кого.

«Понятно в кого» — это был отдельный вид наказания.

Нам постоянно напоминали, что мы не просто дети. Мы дети тех, кто пил, сидел, гулял, бросал, не справился, не захотел, умер, пропал.

Какая разница, что лично ты ещё ничего не сделал?

Приговор уже лежал в личном деле.

У домашних детей были родители.

У нас были характеристики.

И если дома ребёнок мог прийти вечером и пожаловаться: «Мама, учительница меня обидела», то нам жаловаться было некому.

Воспитательница слушала вполуха и обычно говорила:

— Значит, было за что.

В детдоме вообще на всё было «значит, было за что».  
Тебя ударили — значит, нарывалась.

Отняли вещь — значит, плохо спрятала.

Оставили без ужина — значит, заслужила.

Учительница унизила при всём классе — значит, довела.

Очень удобная система.

Виноват всегда тот, кто слабее.

Линейка лежала у учительницы на столе.

Длинная, деревянная, с отколотым краем.

Я эту линейку ненавидела.

Не потому что она была особенно большой. Хотя больно было. Особенно когда попадало по костяшкам или по пальцам. Просто линейка была как предупреждение: взрослому даже вставать не надо, чтобы сделать тебе больно.

Достаточно протянуть руку.

Иногда били указкой.

Иногда мокрой тряпкой.

Мокрая тряпка была унизительнее. Линейка — это боль. Тряпка — это уже как будто тебя не ударили, а протёрли. Как парту. Как доску. Как грязное место.

Один мальчик из нашего класса однажды заплакал после такого.

Не от боли.

От того, что тряпка оставила на щеке мокрый след, и весь класс начал смеяться.

Смеялись не потому, что было смешно.

Смеялись, потому что если смеёшься вместе со всеми, значит, сегодня не ты.

Это тоже детдомовская наука.

Не защитить слабого.

Не потому что ты плохой.

А потому что если встанешь рядом с ним, завтра рядом с ним будешь лежать.

Я училась быстро.

Сидеть тихо.

Писать ровно.

Не поднимать глаза.

Не задавать вопросов.

Не тянуть руку, если не уверена.

И даже если уверена — тоже лучше не тянуть.

Самой страшной была не боль.

Самым страшным было внимание.

Когда учительница брала твою тетрадь и начинала листать её перед всем классом, у меня внутри всё холодело.

— Посмотрите, дети, — говорила она. — Вот так выглядит безответственность.

Дети смотрели.

Кто-то с жалостью. Кто-то с радостью. Кто-то с облегчением, что сегодня не его тетрадь.

На одной странице у меня буквы уползли вверх.  
На другой я размазала чернила.  
На третьей не довела палочку.  
Из каждой мелочи можно было сделать публичную казнь, если есть желание и аудитория.  
А аудитория у неё была всегда.  
Мы сидели за партами, как маленькие подсудимые.  
Без адвокатов.  
К третьему классу я уже многое понимала.  
Понимала, когда лучше молчать.

Когда можно соврать.

Когда надо спрятать ручку в носок.

Когда стоит отдать карандаш добровольно, чтобы потом не получить сильнее.

Когда взрослый просто кричит, а когда уже ищет, на ком сорваться.  
Мне было девять.  
Не такой уж маленький возраст, если смотреть изнутри детдома.  
В девять там уже умеешь многое.  
Таскать ведро.

Мыть пол.

Следить за чужими шагами.

Понимать по голосу, будет сегодня плохо или ещё можно проскочить.  
В тот день я дежурила по классу.  
До сих пор помню это ведро.  
Металлическое.

Серое.

Тяжёлое.  
Даже пустое оно било по ноге и оттягивало руку. А полным становилось почти неподъёмным.

Набирать половину не разрешали.

— Не маленькие, донесёте.

Мы и несли.

Вода расплёскивалась, попадала на колготки, рука краснела от тонкой железной ручки.  
Я ставила ведро на пол, потом снова поднимала, переставляла, тащила дальше.

Пол надо было вымыть хорошо.

Не потому что класс должен быть чистым.

А потому что если утром учительница увидит разводы, виновата буду я.

Я уже почти закончила, когда они пришли.

Старшие.

Трое. Может, четверо. Я сейчас не уверена. Когда тебе девять, а перед тобой стоят подростки, все они кажутся огромными.

Они зашли спокойно.

Так спокойно заходят только те, кто знает: им ничего не будет.  
Один закрыл дверь.  
Другой сел на парту.  
Третья — там была девочка, старше меня лет на пять, — взяла мою тетрадь со стола и лениво пролиставала.  
— Это ты поля не начертила?  
Я молчала.  
Не украдала.  
  
Не ударила.  
  
Не сбежала.  
Не начертила поля во всей тетради.  
Только на нескольких страницах.  
Потому что остальные мне пока не нужны были.  
Я даже имела наглость сказать это учительнице.  
— Зачем сейчас чертить, если я до них ещё не дошла?  
Старшая девочка ткнула тетрадью мне в грудь.  
— Умная, да?  
Я сказала:  
— Нет.  
Не помогло.  
— А чего тогда споришь?  
Я смотрела на ведро.  
На воду.  
На тряпку.  
На свои руки.  
Очень хотелось исчезнуть. Не убежать даже. Просто чтобы меня не стало на пару минут.  
Чтобы они зашли, не нашли никого и ушли дальше.  
Но я была.  
И они были.  
Один из парней взял ведро и опрокинул его на пол.  
Вода пошла волной.  
Сначала к доске. Потом к партам. Потом к моим ногам.  
Я отступила, но было поздно. Колготки сразу промокли. Туфли хлопнули.  
— Мой, — сказал он.  
Я наклонилась за тряпкой.  
Он поднял её быстрее.  
— Не этой.  
И бросил тряпку другому.  
Тот засмеялся и вышел с ней из класса.  
Я стояла среди воды.  
Мокрая до щиколоток.  
Сердце билось так глупо и быстро, будто всё ещё надеялось, что сейчас кто-нибудь войдёт из взрослых и скажет: «Вы что творите?»  
Никто не вошёл.  
Взрослые вообще редко появляются в самые нужные моменты.  
— Свитером мой, — сказала старшая девочка.  
Я не сразу поняла.

Она кивнула на меня:

— Снимай.

На мне был свитер.

Не новый, но тёплый. Колючий. Серо-синий. Я его не любила, пока он был сухой. А когда сняла и опустила на колени, он вдруг стал почти родным.

Я мыла им пол.

Свитер мгновенно пропитался водой. Стал тяжёлым, липким. Руки замёрзли почти сразу. Я ползала по классу, собирала воду, выжимала ткань в ведро, снова ползла.

Они смотрели.

Иногда говорили:

— Вон там ещё.

— Под партой.

— Быстрее, а то до утра будешь.

Потом кто-то открыл окно.

Декабрь.

Холод вошёл в класс сразу, как зверь.

Я была в мокрых колготках, мокрой юбке и одной майке. Свитер превратился в половую тряпку. Руки красные. Колени мокрые. Зубы начали стучать, но я пыталась сдерживать звук.

Нельзя показывать, что тебе плохо.

Им от этого интереснее.

Когда они наконец ушли, в классе стало тихо.

Очень тихо.

Окно осталось открытым.

Пол был почти чистый.

Я сидела на корточках и держала в руках свой свитер.

Металлическое ведро стояло рядом.

Серое.

Тяжёлое.

Пустое.

Как будто это я из него вылилась на пол.

Я не помню, как дошла до спальни.

Помню только, что вечером меня трясло. Сначала от холода, потом уже как-то изнутри.

Воспитательница сказала:

— Не придумывай. Все мёрзнут.

Ночью температура поднялась так, что я перестала понимать, где нахожусь.

Кто-то ругался. Кто-то трогал мой лоб. Кто-то сказал:

— Скорую вызывайте.

Я лежала и смотрела в потолок.

И впервые за долгое время мне было почти спокойно.

Потому что если придет скорая, меня увезут.

А если меня увезут, я хотя бы ненадолго выберусь из детдома.

Когда больница кажется не бедой.

А спасением.

## Запись 6. Больница и Женька

В больницу меня увезли ночью.

Я плохо помню дорогу. Температура поднялась так высоко, что мир плыл кусками: потолок, чужие руки, холодный воздух у входа, жёлтый свет в машине скорой, чей-то голос над головой.

— Девочка из детдома?

— Да.

— Документы где?

— Сейчас привезут.

Вот это «девочка из детдома» потом ещё долго шло передо мной, как табличка. Не Анфиса.

Не ребёнок.

Не девять лет.

Не промёрзла в мокрой одежде после дежурства.

Девочка из детдома.

Очень удобное обозначение. Сразу всё объясняет. И почему одна. И почему без мамы. И почему вещи не свои. И почему можно не особенно сюсюкаться.

Но в ту ночь мне было всё равно.

Я лежала на каталке и думала только об одном: меня увезли.

Не в наказание. Не на смотрины. Не к врачу на час, чтобы потом обратно в строй.

Меня увезли из детдома.

Из серого здания, где каждый коридор знал, как я боюсь. Где металлическое ведро, мокрый свитер и открытое в декабре окно были не чрезвычайным происшествием, а просто очередным днём.

Больница пахла лекарствами.

Обычные дети, наверное, этот запах не любят. Для них больница — это уколы, градусники, строгие врачи, скучные палаты и суп, который не хочется есть.

Для меня запах лекарств был почти запахом свободы.

Не красивой свободы, конечно. Не такой, где море, солнце и мороженое в рожке.

А свободы на больничной койке, под тонким одеялом, с температурой под сорок.

Смешно, если подумать.

Хотя ничего смешного.

Меня положили в палату одну.

Сначала я даже не поняла, что это подарок. Привыкла, что вокруг всегда кто-то есть. Кто-то дышит, шепчет, скрипит кроватью, ворует, толкается, ругается, храпит, плачет во сне.

А тут — тишина.

Одна кровать. Тумбочка. Окно. Батарея. Белая стена с трещиной возле угла. На подоконнике — чужой засохший цветок в пластмассовом стаканчике. Наверное, кто-то оставил, когда выписывался.

Я смотрела на этот цветок и думала: повезло ему.

Его хотя бы кто-то принёс.

Первые дни я почти всё время спала.

Температура то падала, то снова поднималась. Медсёстры приходили, ставили градусник, меняли простыню, давали таблетки. Иногда ругались между собой в коридоре. Иногда смеялись. Иногда заглядывали ко мне без причины.

Вот это было странно.

Без причины.

В детдоме взрослые редко подходили к ребёнку просто так. Обычно у подхода была цель: проверить, отругать, выдать, забрать, заставить, посчитать.

А здесь медсестра могла открыть дверь и сказать:

— Ну что, Анфиска, жива?

И улыбнуться.

Не дежурно. Не как на мероприятии для сирот. А просто потому, что ей, наверное, было не всё равно.

Я не сразу поняла, как на это реагировать.

На всякий случай кивала.

Одна медсестра, тётя Лида, приносила мне лишний кусок хлеба.

— Ешь, — говорила она. — Ты худая, как щепка.

Я ела.

Быстро, конечно. Слишком быстро. Она смотрела, как я запихиваю хлеб в рот, и вздыхала.

— Не отнимет никто. Жуй нормально.

«Не отнимет никто» — очень красивые слова.

Жаль только, что поверить в них сразу невозможно.

У меня вообще с верой было плохо.

Мне уже говорили: «мы рядом».

Говорили: «мы будем приезжать».

Говорили: «это твой дом».

Говорили: «ты наша девочка».

Слова у взрослых получались хорошо.

С делами — как повезёт.

Поэтому хлеб я всё равно держала двумя руками.

Вдруг передумают.

В больнице кормили лучше, чем в детдоме.

Не потому что там была ресторанная еда. Обычная больничная. Каша, суп, котлета, компот. Но всё почему-то казалось вкуснее.

Может, потому что тарелку ставили передо мной, а не перед строем.

Может, потому что никто не орал: «Быстрее, другие ждут».

Может, потому что можно было есть медленно.

Может, потому что, если я не доедала, никто не называл меня зажравшейся сиротой.

Хотя я доедала почти всегда.

И иногда мне приносили добавку.

Добровольно.

За просто так.

Это было роскошью.

Через несколько дней я смогла сидеть у окна. За стеклом был декабрь. Город готовился к Новому году. На улице темнело рано, фонари загорались жёлтыми пятнами, люди шли с пакетами, дети в пуховиках волокли санки.

Я смотрела на них сверху и думала: у них есть куда идти.

У каждого ребёнка за окном было место, куда он вернётся вечером.

Кто-то будет раздевать его в прихожей. Кто-то скажет: «Опять снег в ботинки набрал».

Кто-то нальёт чай. Кто-то достанет из шкафа сухие носки. Кто-то наругает за двойку.

Даже ругань дома — это иногда роскошь.

Потому что тебя ругают свои.

В больнице я встретила Новый год.

Не планировала, конечно.

У детей вообще редко спрашивают, где они хотят встречать Новый год, а у детдомовских — тем более. Но в тот раз мне повезло так, как редко везёт.

Меня не выписали до праздников.

В детдоме, наверное, кто-то вздохнул с облегчением: минус одна лишняя голова на утреннике, минус один подарок, минус один ребёнок, которого надо вести в столовую и обратно.

А я лежала в палате и радовалась, что болею.

Да. Радовалась.

Потому что болезнь дала мне право не возвращаться.

Тётя Лида сказала:

— Ну что, будем тебе праздник делать?

Я думала, она шутит.

Взрослые часто говорят что-то красивое, чтобы потом забыть. Но вечером тридцать первого декабря она принесла в палату маленькую ветку ёлки в банке из-под физраствора.

Серьёзно.

Банка из-под физраствора, кусок ваты вместо снега, пара бумажных снежинок и блестящая мишура, такая короткая, что её хватило только обмотать горлышко.

— Вот, — сказала она. — Ёлка.

Я смотрела на эту кривую ветку и не знала, что делать.

Плакать было нельзя. Глупо плакать из-за ветки.

Но внутри что-то стало горячим.

Не как температура.

Иначе.

Как будто в меня на секунду налили тёплого молока.

Потом пришла другая медсестра, принесла мандарин.

Третья — маленькую шоколадку.

Врач заглянула, сказала:

— С наступающим, Анфиса. Выздоровливай.

Я кивала всем подряд, как дурочка.

У меня была ёлка.

Мандарин.

Шоколадка.

Палата, где никто не отнимет.

И кукла.

Куклу мне подарили уже после ужина.

Не знаю, кто её купил. Может, медсёстры скинулись. Может, кто-то из благотворителей принёс подарки в отделение. Может, она вообще предназначалась другому ребёнку, но досталась мне.

Она была красивая.

Слишком красивая для меня.

С мягкими кудрявыми волосами, в платье, которое шуршало, если провести по нему пальцем. У неё закрывались глаза, когда её кладёшь. Ресницы были чёрные, ровные, как нарисованные.

Я взяла её осторожно.

Не прижала сразу. Не завизжала. Не сказала: «Спасибо, спасибо, спасибо».

Я вообще тогда плохо умела правильно радоваться.

Радость в детдоме — опасная вещь. Если покажешь, что тебе что-то дорого, это почти приглашение: заберите.

Поэтому я просто сидела и держала куклу на коленях.

Тётя Лида сказала:

— Ну что ты как неживая? Нравится?

Я кивнула.

Сильно.

Она рассмеялась:

— Тогда играй.

Играй.

Тоже слово из какой-то другой жизни.

Я не играла с куклой.

Я её запоминала.

Каждый локон. Каждую складку на платье. Пальчики. Туфельки. Гладкое лицо. Маленький рот. Закрывающиеся глаза.

Я понимала: если я принесу её в детдом, у меня её заберут в первый же день.

Может, даже в первый час.

Старшие девочки увидят, скажут: «Дай посмотреть», и всё. Или воспитательница уберёт «до лучших времён», а лучшие времена в детдоме наступают примерно никогда.

Поэтому я старалась наиграться впрок.

Смешная формулировка.

Наиграться впрок.

Как будто нежность можно накопить, как сухари под подушкой.

Я гладила кукольные волосы и думала: если у меня когда-нибудь будет дочь, у неё будут свои игрушки.

Свои.

Не на время. Не пока никто не отнял. Не пока взрослая тётя не решила, что другой девочке нужнее.

Просто свои.

Тогда я, конечно, не знала, что когда-нибудь у меня правда будет дочь.

И не одна.

На следующий день после Нового года ко мне в палату подселили девочку.

Её звали Женя.

Точнее, Женька.

Но я стала называть её так не сразу. Сначала — Женя. Аккуратно. На расстоянии.

Она была домашняя.

Это сразу видно.

Домашних детей вообще легко отличить. Не по одежде даже, хотя по одежде тоже. По тому, как они занимают пространство.

Женя вошла в палату с мамой и сразу начала возмущаться:

— Мам, ну почему здесь так пахнет? Мам, а телевизора нет? Мам, а мне с ней лежать?

Мам, а у меня зарядка где?

Я сидела на кровати и смотрела.

У неё была своя пижама. Розовая, с какими-то смешными зверями. Своя кружка. Своя расчёска. Своя мама, которая отвечала на все вопросы сразу, поправляла одеяло, доставала из сумки тапочки, ругалась на сквозняк и целовала дочь в макушку между делом.

Вот это «между делом» меня особенно поразило.

Домашних детей целуют не по праздникам.

Не за хорошее поведение.

Не потому что пришли гости и надо показать, какие все ласковые.

Просто проходят мимо — и целуют.

Женя, кажется, была недовольна всем.

Палата маленькая.

Кровать жёсткая.

Суп невкусный.

Уколы бесят.

Мама, не уходи.

Мама, не сиди так близко.

Мама, дай телефон.

Мама, убери телефон.

Я слушала и думала: вот это наглость.

Не злая наглость.

Роскошная.

Так ведут себя дети, которые уверены, что их не вернут за неудобство.

Женина мама — тётя Настя, хотя для меня тогда она была просто Жениной мамой — посмотрела на меня и улыбнулась:

— Привет. Ты Анфиса?

Я кивнула.

— А я Настя. Это моя Женька. Она у меня вредная, но хорошая.

— Мам!

— Что мам? Правда же.

Женя закатила глаза, а тётя Настя рассмеялась.

Я смотрела на них и не понимала, как это — когда мама может назвать тебя вредной, а ты не пугаешься.

В детдоме «вредная» легко превращалось в наказание.

Первый день мы с Женей почти не разговаривали.

Она пыталась. Я отвечала коротко.

— Ты давно тут?

— Да.

— А что у тебя?

— Бронхит.

— А у меня ангина.

— Понятно.

— А ты из какого района?

— Из детдома.

Она замолчала.

Вот оно.

Слово, которое закрывает людям рот.

Детдом.

После него взрослые обычно начинают говорить мягче или, наоборот, жёстче. Дети смотрят с любопытством, будто ты не человек, а экспонат.

Женя посмотрела на меня, потом на маму.

Тётя Настя очень спокойно сказала:

— И что? Анфиса теперь с нами в палате. Значит, будем знакомиться нормально.

Я запомнила это «и что?» на всю жизнь.

Не жалостливое «бедненькая».

Не испуганное «ой».

Не брезгливое молчание.

Просто:

И что?

Как будто детдом не отменял того, что я девочка. Что у меня есть имя. Что со мной можно пить чай, играть в слова и делить мандарины.

Вечером тётя Настя достала из сумки контейнер.

Запах ударил по палате так, что у меня сразу свело живот.

Домашняя еда.

Не больничная. Не детдомовская. Не серая.

Куриный суп. Котлеты. Пирожки какие-то. Я не помню точно, что было в тот первый раз. Помню запах.

У домашней еды запах наглый.

Он заходит в комнату и сразу говорит: меня готовили для кого-то.

Не для смены. Не для нормы. Не для ведомости.

Для конкретного человека.

Тётя Настя налила Жене суп, потом посмотрела на меня:

— Анфис, будешь?

Я замерла.

Потому что правильный ответ в таких ситуациях непонятен.

Скажешь «буду» — подумают, что наглая.

Скажешь «нет» — останешься без супа.

Скажешь «не знаю» — будут раздражаться.

Я сказала:

— Не надо.

Тётя Настя даже не стала делать вид, что поверила.

— Ага. Конечно. Сейчас.

И налила мне тоже.

Просто налила.

Не как милостыню. Не со словами: «Ну ладно, раз уж ты сирота». Не с этим сладким благотворительным лицом, от которого хочется спрятаться под кровать.

А как будто так и надо.

Женя буркнула:

— Мам, ты ей больше налила.

Я вся сжалась.

Сейчас начнётся.

Но тётя Настя спокойно сказала:

— Потому что она худее. Ешь своё.

Женя фыркнула, но есть стала.

Я взяла ложку.

Суп был горячий. Вкусный. С курицей, морковкой, картошкой. Обычный суп.

Просто обычный суп.

Я ела медленно, потому что боялась показать, как сильно мне хочется проглотить всё разом.

Тётя Настя делала вид, что не смотрит.

Это было очень деликатно с её стороны.

Не смотреть на чужой голод — тоже талант.

На второй день Женя показала мне игру.

На третий — дала посмотреть свою книжку.

На четвёртый — сказала:

— А хочешь, когда нас выпишут, я тебе буду звонить?

Я чуть не рассмеялась.

Не потому что смешно.

А потому что у меня не было телефона.

И места, куда можно звонить просто мне, тоже не было.

— У нас один телефон, — сказала я. — В детдоме.

— Ну и что? Я туда позвоню.

Я представила, как Женя звонит в детдом и просит Анфису.

Анфису.

Не воспитателя. Не группу. Не кого-нибудь.

Меня.

И внутри опять стало горячо.

С Женькой было легко.

Не сразу, но стало.

Она была шумная, обидчивая, смешная. Могла надуться из-за ерунды, а через пять минут уже делиться конфетой. Постоянно спорила с мамой. Любила рассказывать с подробностями, кто в их классе в кого влюблён, кто списал контрольную, у кого новая куртка.

Я слушала, как слушают радио из другого мира.

У них там были проблемы.

Настоящие, как им казалось.

Не та ручка.

Не тот мальчик посмотрел.

Мама заставляет надевать шапку.

Учительница задала стих.

Подруга дружит не только с тобой.

Я не презирала её за это.

Мне даже нравилось.

Очень странно, но Женькины маленькие домашние трагедии успокаивали. Значит, где-то есть жизнь, в которой ребёнок может страдать из-за шапки, а не из-за того, что его вернули.

Тётя Настя тоже стала приходить ко мне в сердце не сразу.

Сначала я просто наблюдала.

Как она поправляет Жене одеяло.

Как ставит кружку подальше от края.

Как ругает её за капризы, но всё равно чистит мандарин.

Как устало трёт переносицу, когда Женя в десятый раз зовёт: «Мам».

Как отвечает.

Каждый раз отвечает.

Вот это было невероятно.

Женя могла сказать «мам» двадцать раз за час.

И тётя Настя двадцать раз отзовется.

Иногда раздражённо. Иногда ласково. Иногда: «Ну что опять?» Но отзовется.

Я тогда впервые поняла, что слово «мама» — это не просто название женщины.

Это кнопка вызова человека, который обязан откликнуться.

У меня такой кнопки не было.

Моя не работала.

Когда Женьку выписали, она плакала.

Серьёзно.

Стояла у кровати в куртке и плакала, потому что не хотела оставлять меня одну.

Я смотрела на неё и думала: странная.

Её забирают домой.

В настоящий дом. К своей кровати, своим игрушкам, своему телевизору, своей кухне, своей маме.

А она плачет.

Из-за меня.

Тётя Настя обняла меня на прощание.

Я напряглась. Ещё не привыкла к чужим объятиям. Даже к хорошим.

Она почувствовала и не стала держать долго.

Только сказала:

— Ты не теряйся, ладно? Как будет возможность — звони. Женька мне весь мозг вынесет, если ты пропадёшь.

Женька всхлипнула:

— Не вынесу.

— Вынесешь, — сказала тётя Настя. — Я тебя знаю.

Они ушли.

И палата снова стала тихой.

Только теперь тишина была другой.

До Женьки я умела быть одна.

После Женьки одиночество стало заметным.

Я сидела на кровати с куклой на коленях и впервые за долгое время чувствовала не равнодушие.

А боль.

Живую.

Тонкую.

Почти хорошую.

Потому что если тебе больно от того, что кто-то ушёл, значит, этот кто-то успел стать важным.

Медсёстры всё ещё приносили мне добавку. Тётя Лида всё ещё заглядывала и спрашивала, жива ли я. Кукла всё ещё лежала рядом, и я всё ещё гладила её кудри, пытаюсь запомнить на всю жизнь.

Но теперь у меня было кое-что ещё.

Женькин домашний номер.

Я повторяла его про себя, как молитву.

Перед сном.

После уколов.

Когда за окном темнело.

Когда слышала в коридоре, как других детей зовут мамы.

Когда думала о возвращении в детдом.

Цифра за цифрой.

Не забыть.

Не перепутать.

Не потерять.

Потому что бумажки теряются. Вещи отнимают. Куклы исчезают. Взрослые обещают и не приезжают.

А номер, если держать его в голове, никто не заберёт.

Я ещё не знала, что Женька и тётя Настя станут моей настоящей семьёй.

Не по документам.

По тому самому странному закону, который сильнее опеки, справок, квадратных метров и чужих подписей.

По закону: «Я тебя вижу».

Меня выписали через несколько дней после праздников.

Когда врач сказала, что я могу возвращаться, я кивнула.

Правильно. Вежливо. Почти спокойно.

Внутри всё сжалось.

Детдом ждал.

Серые стены.

Вонючее полотенце.

Школа.

Учительница.

Старшие.

Кровать, где под матрасом нельзя оставить ничего ценного.

Я посмотрела на куклу.

Брать её с собой было глупо.

Не взять — невозможно.

Я всё-таки взяла.

Завернула в больничное полотенце, прижала к животу и всю дорогу думала только об одном: может, успею поддержать её ещё хотя бы вечер.

Не успела бы — тоже ничего.

Я уже научилась главному.

Иногда вещь отнимают почти сразу.

А человека, если он однажды по-настоящему вошёл в твою жизнь, так просто не выдернешь.

Даже из детдома.

В ту зиму я впервые дала себе обещание.

Не вслух, конечно. Вслух такие вещи говорить опасно. Услышат — засмеют. Или испортят. Или скажут: «Да кому ты нужна».

Я сказала внутри:

я выживу.

Не потому что сильная.

Не потому что хорошая.

Не потому что кому-то что-то докажу.

Просто потому что где-то за стенами детдома есть люди, которые знают мой номер.

И одна девочка, которая может позвонить и попросить:

— Позовите Анфису.

А значит, я уже не совсем ничья.

## Запись 7. Смотрины

В детдоме детей иногда показывали.

Официально это, конечно, называлось иначе. День открытых дверей. Встреча с потенциальными опекунами. Знакомство. Социализация.

Красивых слов у взрослых всегда хватало.

Но мы между собой называли это проще.

Смотрины.

Потому что нас действительно смотрели.

Как щенков.

Как вещи на распродаже.

Как пальто, которое вроде нравится, но надо проверить: нет ли пятен, дырок, чужого запаха и слишком сложного ухода.

Два раза в год в детдоме начиналось странное оживление.

Взрослые нервничали. Дети нервничали ещё сильнее. Коридоры отмывали так, будто к нам собиралась приехать не пара бездетных супругов из соседнего района, а комиссия из Москвы с правом закрыть всех к чёртовой матери.

Запах хлорки становился таким плотным, что от него можно было задохнуться.

Нам заранее напоминали правила.

Не бегать.

Не орать.

Не драться.

Не просить напрямую.

Не хватать гостей за руки.

Не рассказывать лишнего.

Улыбаться.

Отвечать вежливо.

Не показывать характер.

Характер в детдоме вообще разрешалось иметь только взрослым.

Детям — поведение.

Хорошее или плохое.

Перед смотринами мы становились почти нормальными.

Это почти смешно.

За неделю старшие переставали так открыто мутузить младших, потому что синяки должны были хотя бы пожелтеть. Девочки старались не царапать друг другу лица. Мальчишки меньше дрались в коридорах. Воспитатели становились чуть тише, чуть мягче, чуть похуже на людей, которые работают с детьми, а не с неисправной техникой.

Нас мыли тщательнее обычного.

Выдавали лучшие вещи.

Кому-то доставались платья, которые надевали только по праздникам и для посетителей. Кому-то рубашки с жёсткими воротниками. Кому-то колготки без дырки на пятке — редкая удача.

Девочкам заплетали волосы.

Туго.

Так туго, что к вечеру болела кожа головы. Но зато красиво. Бантики, заколки, ленты, всё как у домашних детей на утреннике.

Только домашние дети после утренника шли домой.

А мы — обратно в спальни.

Помню, как одна старшая девочка сказала перед зеркалом:

— Главное — улыбаться не как дура.

И сама тут же улыбнулась.

Растянула губы.

Глаза при этом остались пустыми.

Я тогда подумала: вот она, идеальная улыбка детдомовского ребёнка.

Такая, чтобы взрослые увидели надежду, но не увидели голод.

Не только настоящий, желудочный.

Другой.

Голод по тому, чтобы тебя выбрали.

На смотринах дети делились на несколько видов.

Мальши ещё верили по-настоящему.

Они бежали к гостям, тянули руки, лезли на колени, показывали игрушки, рассказывали стихи, путались в словах, смеялись слишком громко.

Маленьких вообще любили больше.

С ними взрослым казалось проще.

Мол, ещё не испорченный.

Ещё можно воспитать.

Ещё забудет.

Ещё наш станет.

Как будто ребёнок — это тесто. Главное — успеть взять, пока не застыло.

Дети постарше уже понимали правила игры.

Мы не лезли первыми. Смотрели. Оценивали. Угадывали, к кому стоит подойти, а кто пришёл просто «посмотреть, как тут у вас».

Были такие.

Приходили с жалостливыми лицами, приносили пакеты конфет, гладили по головам самых маленьких и уходили, окрылённые собственной добротой.

Взрослые вообще часто путают помощь с экскурсией.

Посмотрел на чужую боль.

Погрустил.

Отдал шоколадку.

Вернулся домой.

И вроде стал хорошим человеком.

А боль осталась ночевать там же, где и была.  
Я не сразу научилась отличать тех, кто пришёл выбирать, от тех, кто пришёл пожалеть.  
Но научилась.  
У тех, кто выбирал, взгляд был другой.  
Более внимательный. Более хозяйственный.  
Они смотрели не только на лицо.  
На руки.

На походку.

На речь.

На то, как ребёнок реагирует на замечания.

Не слишком ли активный.

Не слишком ли тихий.

Не косит ли глаз.

Не странная ли улыбка.

Не похож ли на мать-алкоголичку из личного дела, хотя мать они, конечно, никогда не видели.

И каждый из нас в эти минуты пытался стать тем, кого можно забрать.

Не собой.

Себя забирать не хотели.

Хотели удобного. Благодарного. Милого. Здорового. Желательно маленького. Желательно без братьев и сестёр. Желательно без страшных диагнозов. Желательно без живой матери, которая сегодня в запое, завтра в тюрьме, а послезавтра вдруг вспомнит о ребёнке и начнёт качать права.

Желательно без прошлого.

А у нас прошлое было у всех.

Даже у тех, кому пять.

У кого-то родители не были лишены прав.

У кого-то трое младших братьев, которых нельзя разлучать.

У кого-то отец сидел, мать пропала, бабушка отказалась.

У кого-то в карте такие слова, после которых взрослые начинали кивать медленнее.

У кого-то, как у меня, было самое противное клеймо.

Возвратная.

Не просто сирота.

Сирота, которую уже брали и вернули.

Бэушная.

Я знаю, грубое слово.

Но точнее я тогда не могла придумать.

Обычный ребёнок из детдома — это вещь без хозяина.  
Возвратный — вещь, которую уже попробовали использовать и сдали обратно.  
Значит, что-то не так.  
Может, сломана.

Может, шумит.

Может, не подошла по размеру.

Может, требует слишком много внимания.

Может, инструкция слишком сложная.

И никакая улыбка это до конца не перекрывала.

Я это поняла не сразу.

Поначалу тоже старалась.

Не так отчаянно, как малыши. Всё-таки после возврата во мне уже жила осторожность.

Но старалась.

Надевала платье. Давала заплести волосы. Сидела ровно. Отвечала, если спрашивали.

Даже улыбалась, когда надо.

Иногда гости задерживали на мне взгляд.

Это было хуже, чем если бы не смотрели совсем.

Потому что в этот момент внутри поднималась она.

Надежда.

Старая, глупая, бессовестная.

Я уже знала, что надежда умеет предавать. Но она всё равно лезла.

А вдруг?

А вдруг именно эти?

А вдруг им всё равно, что я возвратная?

А вдруг им нужна девочка постарше?

А вдруг они посмотрят не в личное дело, а на меня?

Надежда вообще не уважает опыт.

Ей сколько ни объясняй, что уже было больно, она всё равно тянет руку к огню.

Однажды, когда мне было двенадцать, я почти поверила.

На смотрины пришла пара.

Не молодые. Не старые. Такие взрослые, которые уже не бегут за жизнью, а будто спокойно идут рядом с ней. Женщина была в светлом пальто. Мужчина — высокий, с усталым добрым лицом. У него на пальце было обручальное кольцо, которое он всё время трогал большим пальцем.

Я почему-то запомнила именно это.

Они вошли в игровую, где нас собрали для показательной нормальности.

На столах лежали настольные игры. Кто-то рисовал. Кто-то складывал пазл. Малыши громко читали стишок воспитательнице, которая впервые за долгое время смотрела на них с умилением, а не с раздражением.

Я сидела с книжкой.

Не потому что очень хотела читать. Просто с книжкой удобно.

Можно не смотреть слишком голодно.

Женщина заметила меня почти сразу.

Я почувствовала это спиной.

Есть особое ощущение, когда тебя рассматривают не мимоходом, а с мыслью.

Она подошла.

— Что читаешь?

Я посмотрела на обложку, хотя знала.

— Сказки.

Глупый ответ. На обложке и так было написано.

Но женщина улыбнулась.

— Любишь сказки?

Я пожала плечами.

На самом деле не очень.

В сказках слишком часто всё заканчивалось хорошо, а я уже не доверяла историям, где кто-то кого-то забирает, спасает и любит до конца жизни.

Но говорить такое потенциальной маме, наверное, не стоило.

Она присела рядом.

Не слишком близко.

Это было хорошо.

— А какая любимая?

Я подумала.

Сказать надо было что-то милое. Про Золушку, например. Или про Алёнушку. Или про то, как добро побеждает зло.

Но я сказала:

— Не знаю.

Женщина не разочаровалась.

По крайней мере, не сразу.

— Честно, — сказала она. — Это хорошо.

Мужчина тоже подошёл. Посмотрел на меня, потом на женщину. Они переглянулись.

Вот от этого переглядывания у меня внутри всё сорвалось.

Я уже видела такие взгляды у взрослых, которые что-то решают без ребёнка.

Но в тот раз мне почему-то показалось: может быть.

Может быть, я.

Они поговорили со мной ещё немного.

Спросили, сколько мне лет. Люблю ли животных. Хорошо ли учусь. Не скучаю ли.

«Не скучаю ли».

Странный вопрос для детдома.

По чему скучать?

По семье, которая вернула?

По дому малютки?

По кукле, которую забрали?

По жизни, которой у меня не было?

Я сказала:

— Нормально.

Это было моё универсальное слово.

Им можно было закрыть почти любой вопрос.

Как дела? Нормально.

Тебе здесь нравится? Нормально.

Тебя не обижают? Нормально.

Ты хочешь в семью? Нормально.

Женщина всё равно улыбалась.

Она посмотрела на мужа так, будто хотела сказать: «Мне кажется, это она».

Я не выдумываю. Но тогда я увидела именно это. Щелчок.

Тот самый, о котором мечтают все дети на смотринах.

Когда у взрослого внутри что-то поворачивается, и он вдруг понимает: вот мой ребёнок.

Мне даже стало страшно.

Потому что радоваться заранее нельзя.

В детдоме если сильно обрадуешься, жизнь обязательно заметит и ударит чем-нибудь тяжёлым.

Женщина встала и позвала воспитательницу.

Они отошли к окну.

Я делала вид, что читаю.

Буквы расплывались.

Я слышала не слова, а интонации. Сначала мягкие. Потом более серьёзные. Потом тише.

Мужчина подошёл к ним. Воспитательница что-то объясняла. Много объясняла. Слишком много для хороших новостей.

Женщина один раз обернулась на меня.

И вот тут всё стало понятно.

Есть взгляд интереса.

Есть взгляд жалости.

Есть взгляд сомнения.

А есть взгляд прощания.

Она ещё стояла в комнате. Ещё никуда не ушла. Ещё могла подойти, улыбнуться, сказать: «Мы ещё приедем».

Но я уже знала.

Не приедет.

Потому что в её взгляде было это взрослое: «Как жаль».

Как жаль, что ты не та.

Как жаль, что с тобой сложно.

Как жаль, что мы почти выбрали.

Как жаль, что у тебя такая история.

Как жаль, что нас предупредили вовремя.

Мне захотелось встать и уйти первой.

Очень.

Так хотя бы казалось бы, что это я отказалась.

Но я осталась сидеть с книжкой.

Сказки.

Какая насмешка.

Они ушли минут через десять.

Женщина на прощание погладила меня по плечу. Легко. Не как будущая мама. Как человек, который не хочет быть жестоким, но всё равно уходит.

— Удачи тебе, Анфиса.

Удачи.

Вот что желают ребёнку, которого не берут.

Я кивнула.

Очень вежливо.

Потому что воспитанная детдомовка должна уметь принимать отказ красиво.

Не хватать за рукав.

Не спрашивать: «Почему?»

Не говорить: «Я могу быть хорошей».

Не обещать, что больше не буду качаться, ревновать, молчать, злиться, помнить.

Просто кивнуть.

И не мешать взрослым уходить обратно в их нормальную жизнь.

После этого случая я перестала ходить на смотрины.

Не сразу.

Сначала ещё пару раз выходила, потому что воспитатели заставляли. Потом начала выкручиваться.

Менялась дежурствами.

— Я лучше в столовой помогу.

Специально нарывалась на наказание перед такими днями, чтобы меня оставили в спальне.

Один раз действительно сидела одна, пока остальных вывели к гостям. Сначала было обидно. Потом я поняла, что это лучшее место во всём здании.

Тишина.

Никто не смотрит.

Никто не выбирает.

Никто не узнаёт подробности и не бросает последний виноватый взгляд.

К двенадцати годам я потеряла надежду попасть в семью.

Так обычно пишут красиво: потеряла надежду.

На самом деле это не похоже на красивую грусть.

Это похоже на то, как ты сама берёшь что-то живое внутри себя и душишь, пока оно не перестанет дёргаться.

Потому что если не задушишь — оно будет каждый раз поднимать голову при виде чужой женщины в светлом пальто.

А я больше не хотела.

Я не хотела улыбаться до боли в щеках.

Не хотела быть удобной.

Не хотела, чтобы меня снова рассматривали.

Не хотела видеть, как взрослые сначала находят во мне ребёнка, а потом вспоминают, что у ребёнка есть личное дело.

Я решила: всё.  
Мой путь из детдома — выпуск.  
Не мама.

Не папа.

Не чудо.

Не добрая женщина, которой станет всё равно на диагнозы и прошлое.  
Восемнадцать.  
Вот мой выход.  
Оставалось дожить.  
Дожить — не очень детское слово.  
Но у детдомовских детей вообще детские слова заканчиваются рано.  
В тот год я научилась смотреть на малышей во время смотрин почти спокойно.  
Они бегали к гостям, тянули руки, показывали рисунки, залезали на колени к чужим женщинам и смеялись слишком громко.

Я смотрела и думала: маленькие ещё.

Пока верят.

Иногда кого-то действительно забирали.

Редко, но бывало.

Тогда в группе несколько дней стояла странная тишина.

Не радость.

Не зависть даже.

А какой-то общий шок.

Будто из клетки вдруг вылетела птица, и все остальные только теперь вспомнили, что у них тоже есть крылья.

Потом жизнь возвращалась в обычное русло.

Подъём.

Каша.

Школа.

Полотенца.

Наказания.

Слухи.

Смотрины.

Отказы.

Я больше не выходила к гостям.

Думала, что у меня просто закончилась надежда.

А потом однажды увидела мальчика, у которого она не закончилась.

И поняла: иногда надежда не умирает тихо.

Иногда она вылетает на крыльцо босиком, падает на скользких ступенях и кричит чужим людям:

— Меня возьмите.

## Запись 8. Гришка

Гришку в детдоме не любили.

Не знаю почему.

В детдоме вообще не всегда понятно, за что кого-то не любят. Иногда достаточно быть слишком тихим. Или слишком громким. Или слишком слабым. Или слишком похожим на того, кого вчера били, а сегодня по инерции бьют тебя.

Гришка был нормальный.

По крайней мере, мне так казалось.

Мелкий, худой, с острыми коленками и вечным выражением лица, будто он заранее извиняется за то, что занимает место в комнате. Ему было девять. Пять из них он провёл в нашем детдоме.

Пять лет — это много.

Для взрослого, может, и нет. Взрослые любят говорить: «Всего пять лет». У них время другое. Они могут пять лет работать не на той работе, пять лет жить не с тем человеком, пять лет копить на ремонт и всё равно считать, что жизнь ещё впереди.

У ребёнка пять лет — это половина мира.

Гришку мутузили.

Не каждый день, конечно. В детдоме редко бывает так, что кого-то бьют прямо по расписанию. Там всё гибче. Сегодня старшие прошли мимо. Завтра кто-то толкнул в столовой. Послезавтра спрятали ботинок. Потом заставили отдать хлеб. Потом просто дали подзатыльник, потому что лицо раздражает.

Гришкино лицо раздражало многих.

Он не умел держать удар красиво.

Некоторые дети быстро учатся становиться камнем: получили — молчат. Упали — встали. Отняли — запомнили. Потом отыгрались на ком-то слабее.

Гришка так не умел.

Он плакал.

Старался не плакать, но всё равно плакал. Губы дрожали, глаза краснели, он отворачивался к стене, а плечи выдавали его с головой.

В детдоме плакать опасно.

Слёзы там не вызывают жалости.

Слёзы там как кровь в воде.

Все сразу чувствуют.

Я не защищала Гришку.

Вот это важно сказать честно.

Не стояла рядом. Не говорила старшим: «Отстаньте». Не делилась с ним ужином, когда его оставляли голодным. Не гладила по плечу. Не спрашивала, как он.

Мне было его жалко.

Но жалость без действия — очень удобная штука.

Сидит себе внутри, делает тебя вроде бы не совсем плохим человеком, а снаружи ничего не меняется.

Я смотрела, как он ходит по коридору с опущенной головой, и думала: бедный.

А потом проходила мимо.

Потому что встать рядом с Гришкой означало стать следующей.

А я не хотела становиться следующей.

У меня и своей жизни хватало.

В детдоме вообще мало кто хочет быть героем. Герои там долго не живут. Там выживают те, кто вовремя отвёл глаза.

Я отвела.

Не один раз.

И до сих пор это помню.

В тот день были внеплановые смотрины.

Обычно к таким событиям готовились заранее: мыли полы, выдавали приличные вещи, проговаривали, кому где стоять, кто улыбается, кто не отвечает, кого лучше вообще не показывать.

Но тут всё случилось быстро.

Приехала семья.

Мужчина и женщина.

Не к нам всем вообще, а за конкретной девочкой.

Такое тоже бывало. Взрослые заранее смотрели анкеты, созванивались, что-то узнавали, выбирали ребёнка по фотографии, возрасту, диагнозам, статусу. А потом приезжали знакомиться.

Девочка жила со мной в одной спальне.

Звали её, кажется, Лариса. Или Лера. Сейчас уже не уверена. В памяти почему-то осталось не имя, а её голос.

Тонкий, злой, отчаянный.

Ей было около четырнадцати. Мать у неё сидела. Не первый раз, насколько я помню. Про отца ничего неизвестно. Бабушка когда-то была, потом исчезла. Девочка моталась по приютам и детдомам с маленького возраста, но всё равно упрямо держалась за мать.

За ту самую, которая годами её не забирала.

Это взрослым кажется странным.

Ну как можно ждать человека, который тебя бросил? Как можно любить мать, которая сидит, пьёт, пропадает, не пишет, не звонит, не интересуется?

Можно.

Ребёнок не любит по заслугам.

Он любит туда, где должна быть мама.

Даже если там пусто.

Когда воспитательница перехватила Леру в коридоре и сказала:

— Пойдём, к тебе приехали, — мы все поняли.

Семья.

Шанс.

Она сначала даже не сопротивлялась. Только лицо у неё стало какое-то белое, деревянное. Её повели в игровую, где уже ждали мужчина и женщина.

Мы, конечно, сбежались поближе.

Не прямо в комнату — туда нельзя. Но коридор в детдоме слышит всё. Стены там тонкие, двери старые, а дети умеют слушать так, будто от этого зависит жизнь.

Иногда и правда зависит.

Сначала было тихо.

Потом женский голос. Мягкий. Чужой.

Потом голос воспитательницы — этот специальный сладкий тон, которым взрослые разговаривают при гостях.

Потом Лерин голос.

Глухой:

— У меня есть мама.

В коридоре кто-то фыркнул.

Кто-то прошептал:

— Дура.

А у меня внутри всё неприятно сжалось.

Потому что дура — не дура, а я её понимала.

У меня тоже когда-то была мама.

Даже две, если считать ту, которая родила, и ту, которая вернула.

И всё равно слово «мама» внутри долго оставалось не фактом, а дыркой.

Лера пробыла в игровой совсем недолго.

Минут пять.

Может, меньше.

Потом дверь распахнулась, и она вылетела в коридор с таким лицом, будто её пытались украсть.

— У меня есть мама! — закричала она. — У меня есть мама! Я никуда не поеду!

Воспитательница бросилась за ней:

— Лера, прекрати немедленно! Ты что устраиваешь?

— Я не сирота! — кричала она уже почти визгом. — Она выйдет и заберёт меня! Она обещала!

Не знаю, обещала ли.

Скорее всего, нет.

А может, однажды сказала по телефону что-то вроде: «Скоро заберу», чтобы ребёнок отстал и дал поговорить взрослым о своих делах.

Но ребёнку много не надо.

Одного «скоро» может хватить на годы.

Леру увели.

Она билась, орала, повторяла одно и то же:

— У меня есть мама! У меня есть мама!

А в игровой остались те двое.

Мужчина и женщина.

Они вышли не сразу.

Сначала оттуда доносились тихие голоса. Воспитательница извинялась. Очень старалась. Объясняла, что ребёнок сложный, травмированный, что такое бывает, что она просто не готова, что, может быть, посмотреть кого-то ещё...

Вот это «кого-то ещё» в детдоме звучит особенно мерзко.

Как будто в магазине не подошёл один размер, и продавец уже тянется за другим.

Потом дверь открылась.

Женщина вышла первой.

Глаза у неё были красные.

Не от злости.

Она плакала.

Точнее, старалась не плакать, но всё равно плакала. Пальцами трогала уголки глаз, чтобы не размазать тушь. Мужчина шёл рядом и держал её за локоть.

Они были растерянные.

Вот это я запомнила.

Не оскорблённые. Не раздражённые. Не такие, знаете, взрослые, которым отказал товар.

Растерянные.

Они приехали за ребёнком.

Ребёнок им крикнул, что у него есть мама.

И что им теперь делать со своей готовностью любить?

Завернуть в пакет и увезти обратно?

Воспитательница провожала их к выходу, всё ещё извиняясь.

— Вы не переживайте. Мы можем подобрать анкету. У нас есть хорошие дети. Младше есть. Спокойные. Просто вы понимаете, у этой девочки ситуация...

У этой девочки ситуация.

У всех нас была ситуация.

Только у кого-то она помещалась в личное дело, а у кого-то выбегала в коридор и орала.

Мы стояли кто где.

Кто-то у окна. Кто-то возле лестницы. Кто-то делал вид, что просто мимо проходил. Я была у стены и смотрела, как мужчина и женщина идут к двери.

На улице был снег.

Не красивый новогодний, а обычный детдомовский снег — серый у крыльца, утопанный, скользкий. Такой, на котором легко упасть, если бежать.

И тут за нашей спиной что-то грохнуло.

Сначала я подумала, что опять кто-то подрался.

Потом услышала топот.

Быстрый. Неровный. Босой какой-то, хотя по полу босые ноги звучат иначе, чем обувь.

Из коридора вылетел Гришка.

В одних шортах, натянутых поверх колготок, и футболке.

Без кофты.

Без куртки.

Без шапки.

В комнатных тапках, один из которых он потерял почти сразу.

Наверное, его только что подняли после тихого часа или он переодевался. Не знаю. Он был одет так нелепо, что в другое время кто-нибудь обязательно заржал бы.

Но никто не успел.

Гришка нёсся к выходу.

Не просто бежал.

Летел.

Как будто за ним горел весь детдом.

Охранник у двери сначала даже не понял, что происходит. Воспитательница крикнула:

— Гриша! Стой!

Он не остановился.

Он проскочил мимо охранника, толкнул дверь плечом и выбежал на крыльцо.

Холод ударил в коридор сразу.

Я помню этот резкий зимний воздух. Он ворвался внутрь, и все почему-то двинулись к двери, будто нас потянуло за Гришкой.

Мужчина и женщина уже почти дошли до калитки.

Гришка стоял на верхней ступеньке.

Тощий. Белый. В дурацких шортах поверх колготок. С голыми руками, которые сразу покраснели от холода.

И кричал:

— Меня! Меня возьмите!

Женщина обернулась.

Мужчина тоже.

Воспитательница выскочила следом:

— Гриша, немедленно назад!

Но Гришка уже побежал вниз.  
Ступеньки были скользкие.  
Он поскользнулся почти сразу.  
Ноги уехали вперёд, руки взлетели вверх, и он покатился кубарем.  
Это было страшно.  
Очень.

Не как в кино, где герой красиво падает и сразу вскакивает. Нет. Он ударялся о ступени телом, локтями, коленями, головой, как маленький мешок с костями.

Кто-то в коридоре ахнул.

Кто-то сказал:

— Убился.

Я тоже так подумала.

Что всё.

Что сейчас он останется лежать у подножия крыльца, и все будут бегать, кричать, вызывать скорую, а мужчина и женщина уедут, потому что такое точно не входило в их планы.

Но Гришка зашевелился.

Сначала поднял голову.

Потом попытался встать.

Не смог.

Ноги разъезжались на снегу. Тапок остался где-то на ступеньке. Колготки порвались на колене. На коже сразу выступила кровь — яркая, неправильная на снегу.

И тогда он пополз.

На коленях.

К этим людям.

Ребёнок полз по снегу к чужим взрослым.

Не потому что они его позвали.

Не потому что обещали.

Не потому что знали его имя.

Просто потому что у него, видимо, уже не осталось другого выхода.

— Меня возьмите, — повторял он.

Уже не криком.

Срывающимся голосом.

— Меня... пожалуйста... я хороший... я буду хороший...

Вот эта фраза меня тогда ударила сильнее падения.

Я буду хороший.

Как будто ребёнка берут не потому, что он ребёнок.

А потому что он обещает быть удобным.

Мужчина первым сорвался с места.

Побежал к нему, поскользываясь на снегу. Женщина стояла у калитки с руками у лица. Воспитательница что-то кричала, охранник бежал следом, дети толпились в дверях, но всё это стало фоном.

Мужчина добежал до Гришки, снял с себя куртку и накрыл его.

Прямо на снегу.

Так резко, так по-настоящему, что у меня внутри что-то перевернулось.

Потом поднял его на руки.

Гришка сначала вцепился в него так, будто его сейчас оторвут.

И его действительно пытались оторвать.

Воспитательница подбежала, начала говорить:  
— Вы извините, пожалуйста, он у нас... Гришка, отпусти немедленно! Что ты устраиваешь? Ты же замёрзнешь!

Гришка только сильнее обнял мужчину за шею.

Лицо у него было мокрое.

От снега, слёз, соплей — всего сразу.

Он уже не кричал.

Только повторял куда-то в воротник:

— Возьмите меня. Возьмите меня. Я не буду. Я хороший.

Что именно «не буду», он, наверное, и сам не знал.

Не будет плакать.

Не будет мешать.

Не будет есть много.

Не будет болеть.

Не будет плохо спать.

Не будет занимать место.

Не будет быть собой.

Лишь бы взяли.

Мужчина не отдал его сразу.

Вот это тоже важно.

Он не испугался детдомовского скандала. Не поставил ребёнка на снег со словами: «Ну-ну, мальчик, иди к воспитателю». Не отступил назад, как от неприятной сцены.

Он держал Гришку.

Крепко.

И смотрел на женщину.

А она смотрела на них.

Несколько секунд.

Иногда жизнь решается именно так.

Не в кабинете. Не по документам. Не после долгого обсуждения за круглым столом.

А на заснеженном крыльце, где чужой мальчик в порванных колготках держится за твоего мужа, как за последнюю стену между собой и адом.

Женщина подошла медленно.

Очень медленно.

Гришка увидел её и опять напрягся, будто решил, что сейчас она скажет: «Нет, мы за девочкой приезжали».

Но она не сказала.

Она только дотронулась до его головы.

Без шапки. Холодной. Коротко остриженной.

И заплакала уже по-настоящему.

Тихо.

Не театрально. Не так, как плачут на людях, когда хотят, чтобы их пожалели. А как человек, который только что понял что-то страшное и простое.

Ребёнок не должен так просить, чтобы его спасли.

Ни один ребёнок.

Никогда.

Гришку занесли обратно в здание.

Не воспитательница.

Тот мужчина.

В своей куртке он его и нёс. Гришка, кажется, перестал понимать, что происходит. То ли от удара, то ли от холода, то ли от надежды, которая вдруг стала слишком большой для маленького тела.

Его посадили на скамейку в холле.

Кто-то принёс одеяло. Кто-то побежал за медсестрой. Воспитательница продолжала суетиться, говорила, что это недоразумение, что мальчик эмоциональный, что он не в списке, что они приехали знакомиться с другим ребёнком.

С другим ребёнком.

Я смотрела на Гришку и думала: а он что, не ребёнок?

Он сидел под одеялом, босая пятка торчала наружу. Колено было разбито. Губы синели. Но руки он всё ещё не разжимал.

В одной руке держал рукав мужской куртки.

Будто если отпустит — всё исчезнет.

Мужчина присел перед ним.

— Как тебя зовут?

Гришка заморгал.

Наверное, он не ожидал вопроса.

— Гриша.

— Я Сергей, — сказал мужчина. — А это Лена.

Женщина тоже присела.

— Гриш, тебе больно?

Он мотнул головой.

Конечно, ему было больно.

Но когда решается вопрос твоей жизни, колени — ерунда.

— Я хороший, — сказал он зачем-то снова.

Женщина закрыла рот рукой.

Сергей посмотрел на воспитательницу.

У него изменилось лицо.

До этого он был растерянным. Теперь — нет.

— Мы хотим узнать про него.

В холле стало так тихо, что слышно было, как где-то капает вода с чьих-то ботинок.

Воспитательница растерялась.

— Про Гришу?

— Да, — сказал он. — Про Гришу.

Вот так.

В первый раз за всё время я увидела, как взрослый произносит имя детдомовского ребёнка не как проблему, а как решение.

Дальше всё было не быстро.

Не надо думать, что его в тот же день одели, посадили в машину и увезли навсегда. В жизни так редко бывает. Были документы. Проверки. Разговоры. Приезды. Разрешения. Чужие подписи, без которых ребёнок всё ещё не совсем ребёнок, а объект процедуры.

Но Сергей и Лена приезжали.

Не к Лере.

К Гришке.

Привозили ему тёплые носки. Куртку. Книжку про машины. Он первое время не верил. Ходил после их визитов как побитый, будто ожидал, что сейчас кто-то скажет: «Шутка. Никто тебя не заберёт».

Дети тоже не верили.

Старшие, которые раньше его гнобили, стали вести себя странно. Кто-то язвил:

— Ну что, артист, выбил себе родителей?

Кто-то смотрел с завистью.

Кто-то пытался подружиться задним числом.

В детдоме быстро чувствуют, когда у человека появляется спина.

Гришка менялся.

Не сразу.

Он всё ещё вздрагивал от резких звуков. Всё ещё ел быстро. Всё ещё прятал под подушкой хлеб. Но в нём появилось что-то новое.

Будто внутри него впервые зажгли лампочку.

Маленькую.

Неяркую.

Но свою.

В день, когда его забирала, он был в новой куртке.

Слишком большой. Рукава закрывали пальцы. Шапка сползала на глаза. Он стоял у выхода с пакетом вещей, которого было жалко даже называть багажом.

Сергей держал документы.

Лена держала Гришку за руку.

А он стоял между ними и всё время смотрел на эту руку.

Как будто проверял: держит ли.

Держала.

Перед тем как выйти, он обернулся на нас.

На всех сразу.

Не улыбнулся.

Не помахал.

Просто посмотрел.

И я вдруг поняла, что он не победил нас.

Он выбрался.

А это разные вещи.

Когда дверь за ним закрылась, в коридоре кто-то сказал:

— Повезло дураку.

Может, и повезло.

Только я потом много думала: это было везение или последний рывок человека, который понял, что если сейчас не закричит, его никто никогда не услышит?

Я не знаю.

Правда не знаю.

Я бы так не смогла.

Я в двенадцать решила больше не выходить на смотрины. Решила ждать восемнадцати. Решила не унижаться, не просить, не смотреть взрослым в глаза с надеждой.

А Гришка попросил.

На весь двор.

На весь детдом.

На всю свою маленькую искалеченную жизнь.

— Меня возьмите.

И его взяли.

Много лет спустя я узнала, что у Леры, той девочки, которая кричала «у меня есть мама», мать так и не пришла.

Она покончила с собой в тюрьме где-то за год до Лериного выпуска. Из-за несчастной любви, говорили. Не из-за дочери. Не из-за раскаяния. Не из-за того, что ребёнок вырос в детдоме, держась за обещание, которого, может, никогда и не было.

Просто из-за какого-то мужчины.

Леру это, наверное, добило.

Я не знаю, как сложилась её жизнь дальше. Встречала её уже взрослой, но мы не были близки. В детдоме вообще мало кто становится по-настоящему близким. Слишком опасно привязываться к тем, кого завтра могут забрать, перевести, сломать или кто сам тебя предаст, чтобы выжить.

А Гришку усыновили.

Одна девочка отказалась от семьи, потому что ждала мать, которая так и не вернулась.

Один мальчик сам бросился под ноги чужим людям, потому что понял: ждать ему некого.

Я помню Гришку.

Ребёнка, который должен был спокойно жить, учиться, разбивать коленки во дворе, просить добавку у мамы и спорить с папой из-за мультиков.

А он в девять лет полз по снегу к чужим взрослым и обещал быть хорошим.

Вот и вся моя благодарность.

Не место детям там, где за шанс быть любимым надо падать с крыльца.

## Запись 9. Тётя Настя

После Гришки я окончательно решила, что просить не буду.

Не потому что стала гордой.

Гордость у детдомовских детей вообще странная. Снаружи может казаться: вот, характер, не унижается, держит лицо. А внутри чаще всего не гордость, а страх.

Страх открыть рот и услышать «нет».

Страх протянуть руку и увидеть, как взрослый отводит глаза.

Страх поверить, что тебя могут выбрать, а потом снова остаться на том же месте, только уже с ещё одной дырой внутри.

Я не хотела быть Гришкой.

Не хотела падать на снег.

Не хотела ползти к чужим людям.

Не хотела обещать, что буду хорошей.

Я уже была хорошей.

Сколько могла.

Только это не особенно помогало.

Поэтому к двенадцати годам я решила: всё. Никаких семей. Никаких смотрин. Никаких улыбок до боли в щеках.

Мой выход — восемнадцать.

Дожить, получить документы, забрать то, что государство считает началом взрослой жизни, и уйти.

Куда — не знала.

Но главное было уйти.

Только жизнь, как обычно, не спросила, готова ли я жить совсем без надежды.

Она оставила мне тётю Настю.

Не сразу, конечно.

Никакого грома с небес, никакой музыки, никакого взрослого, который входит в детдом и говорит: «Я пришла за этой девочкой». В моей жизни всё важное появлялось как-то боком. Через болезнь. Через чужую палату. Через девочку с ангиной, которая слишком много говорила и называла маму каждые пять минут.

Женька.

После той больницы мы с ней не потеряли друг друга.

Это само по себе было чудом.

Обычно люди из нормальной жизни появляются рядом с детдомовским ребёнком ненадолго. Пожалели, угостили, подарили куклу, погладили по голове — и ушли обратно в свои кухни, квартиры, семьи, отпуска, ремонты, родительские собрания.

И всё.

Ты остаёшься с воспоминанием, как с фантиком от конфеты. Вроде сладость уже закончилась, но выбросить жалко.

С Женькой вышло иначе.

Её номер я выучила наизусть.

Не записала.

Записывать было опасно. Бумажку можно потерять. Её могут найти, порвать, отнять, выбросить. В детдоме вообще всё, что лежит отдельно от тела, принадлежит тому, кто первым протянул руку.

А номер в голове — другое дело.

Его не украдёшь.

Я повторяла цифры перед сном. На уроках. В очереди в столовую. Пока чистила зубы выданной на щётку пастой. Пока вытиралась мокрым полотенцем. Пока ждала, что бывшие родители, может быть, всё-таки приедут.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.